

Яна Вагнер

КТО

НЕ СПРЯТАЛСЯ



История одной
компании

18+

**Яна Михайловна Вагнер
Кто не спрятался. История одной
компании**

© Вагнер Я., 2018

© Мачинский В., художественное оформление, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Пролог

Стоя на четвереньках, она рассматривает россыпь темных капель, разъедающих снег между ее расставленными ладонями. В сумерках кровь выглядит черной. Не оборачивайся, говорит она себе. Не спеши. Не поднимайся. Еще рано. Верхняя губа онемела, во рту горячо и солоно. Она не чувствует боли, она еще не испугана, просто сосредоточенна. Ей нужна пауза, чтобы собраться с мыслями. В ударе, сбившем ее с ног, нет ничего непоправимого – это всего лишь точка, момент выбора. Развилка. Ничего из того, что случится после, нигде не записано и не предопределено, а значит, на это еще можно повлиять, думает она, и склоняет гудящую голову, и аккуратно сплевывает кровь, и даже немного отодвигает левую руку, чтобы не запачкать.

Там, у нее за спиной, – тихо, и это означает, она не единственная, кому нужно время, чтобы принять решение. Хорошо, думает она, это хорошо. Значит, мы успеем поговорить. Главное – привести в порядок лицо. Четыре с лишним дюжины послушных, выдрессированных лицевых мышц приходят в движение, расслабляются, разглаживают лоб, напрягаются, смягчают линию рта; плохо, что верхняя губа не повинуется, это очень важно – рот. Важнее глаз, важнее бровей, одним ртом можно выдать такую беззащитность, такую детскую хрупкость, и никто уже не тронет тебя, только не с таким ртом. Но губа вышла из строя, черт, как не вовремя. Ладно, думает она. Ладно. На крайний случай всегда остаются глаза; правда, даже за время, пока она стоит на коленях, сумерки сделались вдвое гуще – в этих горах вечно темнеет одним махом, как будто кто-то задернул шторы. От глаз в темноте никакого толка. Придется забыть об оттенках и полутонах и сделать грубо. Заплакать легче всего. В конце концов, она – музей плача. Эрмитаж плача. Лувр. Минус – неслышный одиночный всхлип. Нейтраль – беззвучный укоризненный ливень из слез, который удаётся лучше

всего, если не морщиться и не моргать. Плюс – рыдания, невыносимые судорожные гримасы, некрасивые пузыри. Ей известны два десятка видов плача, три десятка. Легко покачиваясь на локтях, поджимая стынущие пальцы, осязая холод лицом и затылком, она молча перебирает их и отмечает один за другим.

Чертовы сумерки. Похоже, ей понадобится всё сразу: и лицо, и голос. Снег в трех шагах от ее незащищенного затылка скрипит неожиданно, резко, и она слышит это и все равно запрещает себе подняться на ноги. Вот сейчас пора оборачиваться. Ее лицо уже готово. Да, губы разбиты, а во рту кровь, но лицо готово, в нем нет уже ни гнева, ни обиды – только боль и отпущение греха; ей просто нужно успеть показать это лицо до следующего удара. Одним только лицом она может многое остановить. Почти всё. По крайней мере, за десять последних лет не было ни единого случая, когда лицо и голос подвели бы ее.

Сейчас она поднимет голову и заговорит. Конечно, хорошо бы догадаться, в чем дело. Что именно случилось в этот раз. Единственное, чего ей всегда не хватало, – понимания. Эмпатии. Чужие химические реакции, странные формулы, повинувшись которым другие плачут, смеются, корчатся, дерутся и кричат. Неожиданно становятся опасными. Этого языка она не знает, и потому ей пришлось заучить приемы. Беспроигрышные. Увесистые, как пудовая гиря. Запастись универсальными фразами, понижающими температуру. Ей всего только и нужно сейчас – получить передышку, небольшую фору. Голос зазвучит тепло и мягко, без нажима, без злости. Я понимаю, скажет она сейчас. Ты злишься, я вижу, подожди. Подожди. Главное – не пережать. Повторение простых слов и тихий голос. Можно сказать: ну ты что. Больно. И ровно в этот момент стереть кровь с губ. Немного покачаться из стороны в сторону – монотонность успокаивает. Может быть, протянуть руку, хотя нет. Не нужно руки, это лишнее – рука.

Она не успевает сделать ничего. Следующий удар приходится ей под ребра – на вдохе, потому что она ведь собиралась обернуться и

заговорить, и арестованный в легких воздух екает, сворачиваясь крошечным внутренним смерчем, не найдя выхода. Она легко валится набок, поджимая колени к животу, загораживая локтями лицо, и думает при этом: опоздала. Надо же, опоздала. Разговоры закончились. Вместо того чтобы драться, она решает беречь силы и замирает. Это мгновенный, ясный выбор мыши, попавшейся коту: если ты слаб – не кричи. Не дергайся. Береги энергию. Замри и жди момента.

Когда после вялой непродолжительной возни ее опрокидывают лицом в снег, вместе с ее согнутыми коленями и локтями, когда липкая белая масса набивается ей в рот, и она чувствует на себе вес другого тела и чужую руку на своем затылке, и рука эта давит, вжимает ее в плотный безвоздушный сугроб раскрытым ртом, носом, глазами. Когда она крутит головой – изо всех сил, отчаянно, чтобы вдохнуть хотя бы уголком рта, – и слышит вдруг, именно слышит прежде, чем чувствует, как рвется мочка ее правого уха, потому что сережка с прочным английским замком цепляется за что-то, за перчатку безжалостной сторонней руки, а может быть, за воротник ее собственной куртки, ей уже плевать и на ухо, и на сережку. Ей нужно дышать, и она дергает плечами и задирает подбородок, резко, с усилием, и слышит хруст в каких-то пяти сантиметрах от своей яремной вены, и спустя секунду или две очень коротко удивляется тому, насколько эта боль выносима, потому что именно тогда, именно в этот момент понимает отчетливо и ясно: все это затеяно не ради того, чтобы просто отлупить ее. Ее в самом деле сейчас убьют.

И даже здесь она не поддается панике. Она просто принимает новые правила. Переворачивается на спину, оставляя позади, в сугробе, свои заблуждения. Три десятка капель крови, ненужную сережку и вырванный кусок мочки. Уже можно драться в полную силу. Уже все равно. Она напрягает мышцы живота и выгибает спину. Упирается пятками в снег. Вытягивает вперед руки, растопыривает пальцы. Главная задача сейчас – оттолкнуть, освободиться от чужого

веса. Вывернуться и убежать. Правило выживания: если тебе не победить, беги. Как можешь быстро. Пальцы ее скользят по глупому гладкому нейлону, не оставляя на нем ни следов, ни царапин, но ноги у нее сильные; у женщин, годами бессмысленно мучающих свои коленные суставы двенадцатисантиметровыми каблуками, и правда сильные ноги, очень сильные. Она задерживает дыхание, зажмуривается, раздувает ноздри и напрягает колени, и толкает от себя и вперед, и через мгновение ее уже ничего не держит.

Понятно, что распорядиться этой временной свободой она может по-разному. Теперь, когда она снова может дышать, все эти варианты с ревом возвращаются к ней. Просить пощады. Звать на помощь. Бежать. Она хрипит. Выкашливает снежный комок, набившийся в рот. Рывком переворачивается животом к земле и ныряет лицом вниз, в собственный рукав, стирая одновременно кровь, лед и воду. Не тратя времени на то, чтобы пытаться встать, отталкивается локтями и мысками ботинок и ползет – назад, в сторону дома. До дома недалеко, двести с небольшим метров. Она ползет. В сторону освещенных окон, спасительного дверного проема, теплой латунной ручки. Не заботясь о сохранности локтей и коленей. Она бежала бы, но знает точно, что не успеет подняться на ноги. Зачерпывая снег голыми, без перчаток, леденеющими руками, она ползет – быстро, неловко, жадно, раскачиваясь из стороны в сторону, как годовалый ребенок, который не умеет ходить, или даже как тюлень, спешащий к океану, и за спиной у нее – холод и мрак, а впереди – восемь электрических желтых прямоугольников, и за ними – люди, которых она двадцать с лишним лет зовет своими друзьями, готовятся ко сну, курят, наливают себе последние пятьдесят граммов виски, чистят зубы, ссорятся, сплетничают, не подозревая о том, что она сейчас умрет, не слыша ее, не помня о ней.

Последние клочки здравого смысла подсказывают ей, что кричать еще рано. Для того чтобы ее услышали те, кто нежится сейчас за освещенными окнами, нужно подобраться к самому дому. Толстые

деревянные стены и двойные зимние стеклопакеты поглотят любые звуки, особенно если она закричит вот так, лицом в землю. Она ползет, задыхаясь, захлебываясь, с железным привкусом на нёбе, с мокрым ледяным затылком, ожидая в любое мгновение прикосновения чужих цепких пальцев на своих щиколотках, и, когда ее в самом деле хватают за ноги – или за ногу, – она рвется вперед всем телом, отчаянно, потому что теперь ей не нужно больше экономить силы, и поднимается, и бежит. Это недлинный бег – полторы сотни метров, но это самый напряженный и яркий бег в ее жизни. Она слышит, как хрустят ее избалованные праздностью колени. Она видит свои вытянутые вперед мокрые руки и растопыренные пальцы, тянущиеся к перилам крыльца.

Вот сейчас самое время закричать. Именно здесь выясняется, что голос изменил ей. Голос, всю жизнь служивший последним аргументом. Безотказный. Послушный. Способный по ее желанию падать и подниматься, слышный из последнего ряда. Почти всемогущий. Она действительно открывает рот и пытается вначале вскрикнуть в полную силу, а потом, когда ничего не выходит, задерживает дыхание, чтобы любой ценой просто протолкнуть. Мало-мальский. Жалкий. Какой угодно звук сквозь сжатое горло. Руки и ноги еще служат ей, но голоса нет, никакого. Черт, выходит, она все-таки паникует. Как не вовремя.

Она влетает в груды составленных возле крыльца лыж с разбегу, как испуганная курица. Курортные лыжи – широкие, пластмассовые, ничьи, не успевшие еще распределиться по временным хозяевам, рассыпаются под ее ногами, раскатываются по заснеженной освещенной площадке; пытаюсь преодолеть секунду назад еще не одушевленный, а теперь внезапно оживший стог полимерных материалов, она чувствует себя неловким медведем, пытающимся поймать скользкого лосося в реке, по которой сплавляются бревна. Спотыкаясь, оскальзываясь, она падает прямо в груды рассыпавшихся лыж, оцетинившихся универсальными креплениями. Сдирает кожу с рук. С треском рвется нейлон ее зимнего

комбинезона. От входной двери ее отделяет пять каменных ступенек. Пять дурацких ступенек, которые она не может преодолеть, потому что не способна встать и не способна ползти. Она барахтается в проклятых лыжах, пытаясь поймать момент, когда ее горло все-таки разожмет и у нее снова появится шанс; ненавижу лыжи, со школы ненавижу лыжи, чертовы лыжи, думает она иступленно. Нужно просто дотянуться до перил, всего лишь дотянуться до перил.

В затылок ей светит киловаттный светильник, подвешенный над входной дверью. Ничего плохого не может случиться с человеком, который оставил тьму позади. Обогнал ее. Вырвался. Все хтоническое древнее зло, над которым легко смеяться, как только в руках у нас появляется слабый детский светодиодный фонарик, обязано отступить. Испугаться света. Нормальности. Чик-трак. Я в домике, думает она глупо и чувствует грандиозное облегчение. Облегчение на миллион долларов. Окна первого этажа освещены; там, за ними, и расположены все эти горнолыжно-пансионные банальности. Прихожая, гардеробная. Скучные, идиотские, неудобные помещения. Ненавистные любому бывалому туристу. Унифицированные. Общая гостиная, которая будет обставлена одинаково везде, будь то швейцарские Альпы или маленькая восточноевропейская страна. Камин с закопченной стеклянной топкой. Полированный журнальный стол и два заляпанных свечным воском кресла. Ей даже кажется, что в глубине гостиной она видит темную коротко стриженную голову, узкие плечи; ну да, он еще не спит, этот хмурый местный заморыш, как его, Оскар. Обернись, Оскар. Посмотри в окно.

Она уже в круге света. Ей видно Оскаров силуэт через оконное стекло, и, хотя подняться на ноги она еще не успела, она все равно испытывает торжество. Все еще лежа посреди разбросанных лыж, присматриваясь к высоко расположенной входной ручке, она прикидывает покойно, уже без острого страха, как поднимется по ступенькам и постучит, и что выкрикнет. Именно в этот момент

лыжная палка – толстая, четырехгранная, острая, как гигантская швейная игла, – взмывает над ее головой и вспарывает, последовательно: влагонепроницаемую ткань у нее на спине; ультратонкий гибридный материал; мембрану со встроенным климат-контролем; слой невесомого жаркого гагачьего пуха. И в самом конце протыкает ей левое легкое.

Удар не смертелен. Она все еще жива, просто теперь наверняка уже не сможет кричать и тем более стоять на четвереньках. Пока она лежит, сосредоточившись вокруг жгучей боли под лопаткой, и пытается придумать следующий ход, ее берут за ноги и поспешно, неловко волокут по снегу назад, к деревьям и камням, подальше от дома и света. В темноту. Она запрокидывает голову и видит удаляющиеся мирные прямоугольники окон и (по крайней мере, ей так кажется) темный силуэт человека в одном из них. У нее нет сил, чтобы позвать на помощь, она не уверена даже, что там действительно кто-то стоит; осознавая глупость собственного жеста, она закидывает за голову руку и машет неизвестному, стоящему возле окна. Избитая, мокрая, умирающая, она понимает, что человек ее не видит, конечно, не видит, иначе не стоял бы так спокойно.

Как только дом скрывается из виду, она получает еще один удар лыжной палкой, на этот раз в живот. Теперь у нее существенно меньше причин для того, чтобы не умирать, но она как будто подписала какой-то страшный документ, обязывающий ее оставаться в сознании несмотря ни на что, и она остается и чувствует полтора десятка раскаленных струек крови, вытекающих из дырки в ее животе, и примерно столько же – с противоположной стороны, из-под лопатки. Кроме того, она, кажется, обмочилась. Удивительным образом женщине, которую дважды проткнули лыжной палкой, оказывается совершенно безразлично поведение ее мочевого пузыря.

Лежа на спине, она рассматривает гнутые, черные, равнодушные еловые головы. Что бы с ней теперь ни делали, она проживет еще сорок три минуты, не больше. Вероятно, этот срок еще можно

сократить, но продлить уже точно нельзя. Елки-елки, думает она безразлично. Елки.

Когда ее перекидывают через парапет (железные трубы, сваренные буквой «П» невысоко, на уровне пояса), она ловит себя на том, что готова даже напрячься и помочь, оттолкнуться пришедшейся по эту сторону парапета ногой. Сложно сказать почему. Возможно, затем, чтобы все это быстрее закончилось. За парапетом – черные, обмазанные жирным белесым льдом камни, резко ухающие вниз, но лететь ей все равно недалеко – метров десять-двенадцать. При падении что-то еще ломается, колено или щиколотка, она слышит хруст, но, к счастью, уже не чувствует боли и оставшиеся ей минуты просто медленно дышит, запрокинув к небу подбородок, уже без злости и без обиды, и наверняка была бы даже рада приветствовать полуторасантиметровый милосердный слой снега, которым небо, устыдившись, поспешно покрывает ее разбитое лицо и заполняет пространство между ее верхними и нижними веками. Если бы, конечно, к этому моменту не умерла.

Глава первая

Оскар совершенно им не понравился. Нет, он не опоздал и ничего не испортил, он вообще не нарушил ни единого условия из доброй сотни тех, что были оговорены заранее в бесчисленных мейлах и факсах, летавших туда-сюда в течение долгих месяцев, до того еще, как они узнали, что им всем придется ехать. Его нисколько не смутила даже авантюрная Ванина идея, родившаяся в последний момент: прибыть на неделю раньше маленькой компанией. Только свои. Бросить внизу, у подножия горы, нервного и несчастного второго режиссера с парой подручных менеджеров и тремя технарями разворачивать лагерь и организовывать площадку, а самим рвануть выше, к заросшей столетними соснами верхушке, и провести там семь спокойных дней, прежде чем нагрянут все остальные и начнется обычный съемочный кошмар. Там есть такой парень – Оскар, сказал Ваня. Очень толковый. Он нам все организует, я договорился. Альпийский шик в самом сердце Восточной Европы. Горный воздух, сливовица, тишина. Я пришлю к вам человечка за паспортами, вылет – двадцатого. Отказы не принимаются, ребята, мы сто лет никуда вот так вместе не выбирались, хватит капризничать, от вас требуется только вовремя явиться в аэропорт.

Неделя всего, сказал Ваня, а потом катитесь на все четыре стороны; и если поначалу они еще роптали, жалуясь на отсутствие времени, на работу, на срочные дела, то двадцатого, в аэропорту, уже с удовольствием обнаружили себя в недлинной очереди в бизнес-класс: Ванька, ты буржуй, два часа лететь всего. Девушка за бизнес-стойкой тем не менее была втрое красивее эконом-девиц, и улыбка у нее была ровно в три раза шире, и завтрак на фарфоровых тарелках, и густой эспрессо в пузатых толстостенных чашках, и шампанское в бокалах со звоном, не налегаем, утро все-таки. К обеду того же дня маленький и чистый, составленный из четырех

коротких вагончиков поезд, насмешивший бы самую завалящую подмосковную электричку, пересек половину крошечной страны и доставил их, уже расслабленных, хмельных и умиленных, в аккуратный городок с непроизносимым названием. «...слав», – глухо, в нос пробубнил машинист, обращаясь, кажется, только к ним одним, потому что больше никого и не было в куцем игрушечном вагоне, а возможно, и во всем поезде. Высокие, почти во всю стену вагонные окна, прозрачные и ухоженные, как аквариумные стекла, явили им компактный сухой перрон с синими лавочками и лаконичную табличку, пестрящую невпопад слепленными между собой латинскими буквами. И вначале они, хихикая, попытались расшифровать эту едва читаемую абракадабру, в какую складывается всякий второстепенный славянский язык для того, кто считает, что говорит на языке главном, и только потом увидели Оскара, ожидающего их снаружи; и, хотя без него они вряд ли догадались бы, что пора выходить, с самого первого взгляда он ужасно им не понравился.

Он стоял на платформе – аккуратный, невысокий, в чистенькой куртке с клетчатым отложным воротником на молнии, какие бывают у маленьких мальчиков, отправленных мамой в школу, – повернув к поезду бледное серьезное лицо. У него были гладкие, расчесанные на пробор темные волосы и розоватые полупрозрачные уши. В некрупной лапке он держал плакатик, на котором ровными печатными – русскими! – буквами было выведено: «ПАН КАЛАШНИКОВ». Разумеется, у них, столпившихся у окна, никаких плакатов не было, но это почему-то не помешало ему опознать их. Вагончик скользнул мимо и замер в пятидесяти метрах от его сосредоточенной фигурки, и фигурка эта вздрогнула, пришла в движение и спустя полминуты вновь оказалась прямо у них под окном, без улыбки взглянула вверх и укоризненно качнула им навстречу «Паном Калашниковым». Это за мной, сказал Ваня неожиданно обреченно и невесело. Пошли, Лорка. И дернул свой широкий крокодиловый чемодан, и поволокся к выходу, с каждым

неохотным шагом расплескивая радость, с которой они летели и ехали; и все они потащились следом, наполняясь неясной тревогой.

Воздух снаружи оказался холодный и горький, невкусный, несвежий, хотя вокзал был непорочно, перламутрово чист, а за его полупрозрачным зданием толпились массивные, утыканные заснеженными елками горы. Первым из поезда выпал Вадик – належке, спиной вперед, потому что следом за ним из неглубокого целомудренного вагонного жерла высунулась тонкая, объятая сизой джинсовой кольчугой длинная нога и воткнула в стерильное перронное покрытие хищный каблук и остроконечный мысок, сто шестнадцать сантиметров от бедра до щиколотки. Хрупкая лодыжка зашаталась, призывая поймать ее в ладони, зафиксировать, спасти и уберечь. Фу, сказала юная, нежная Ванина жена прямо в сладострастное Вадиково ухо. Он поднял руки, и поймал ее, и подержал на весу две или три коротких секунды, чувствуя кончиками пальцев сухие частые ребра, и закрыл глаза, и глубоко вдохнул, и с сожалением поставил ее на перрон. Фу, повторила она, отворачивая узкое свое лицо и раздувая ноздри. Вот это горный воздух? За ней уже топорщились другие чемоданы, голоса и колени, и он отступил на шаг-другой, чтобы дать им место, и воткнулся в неподвижного Оскара с его глумливой табличкой.

– Добрый день, – отдельно, почти без акцента сказал Оскар, убрал табличку за спину и неодобрительно оглядел их, шумных, не продышавшихся, едва успевших вывалиться из поезда, который принялся уже шипеть, и дуться, и двигаться дальше.

– Чем это пахнет? – спросила нежная джинсовая Лора (цыганская Лора, чернокудрая Лора, расстегни-еще-одну-пуговицу-Лора, подумал Вадик и мысленно застонал, отворачиваясь) и обратила к Оскару недовольные темные глаза.

– Пахнет, – повторил Оскар безо всякой вопросительности, с отчетливой точкой в конце, склонил голову набок, опустил веки и задвигал тонким кончиком бескровного носа, втягивая воздух, мгновенно сделавшись похожим на большого выцветшего крота, и

они все, девять взрослых человек, неожиданно для себя замерли и притихли, ожидая его ответа.

– Я понял, – сказал он наконец. – Это уголь. Так пахнет уголь. Маленький город. Угольное отопление.

– Да. Уголь, – нетерпеливо сказал Егор, и вежливо приподнял гладко выбритую верхнюю губу, показывая хорошо отбеленные зубы, и пощелкал выдвижной ручкой своего чемодана. – Газ дорогой, уголь дешевый. Мы поняли. Послушайте, Оскар. Вас же Оскар зовут, да? Может быть, мы все-таки пойдём? Видите ли, мы уже полдня в пути...

– Не стоит беспокоиться, – невозмутимо продолжил Оскар, явно намеренный закончить фразу любой ценой. – Там, куда мы направляемся, очень чистый воздух. Горы. Легкие Европы. Курорт.

Он назидательно поднял палец, оглядел их, словно убеждаясь, что слова его услышаны, и только после обратился к Егору:

– Пан режиссер, я полагаю?

Егор замер, словно не веря своим ушам, и оскалился еще шире. Нехорошо оскалился, обреченно понял Вадик.

– Пан Режиссер, – с восторгом повторил Егор. – Нет. Это, к сожалению, не я. Пан Режиссер – это вот. – И ткнул торжествующим пальцем в Вадикову сторону.

– Вадим, – сказал Вадик безнадежно и протянул руку, прислушиваясь к сдавленному многоголосому хихиканью у себя за спиной; мерзавцы, подумал он, ох мерзавцы. – Не надо «пан режиссер», – попросил он. – Давайте просто Вадим.

– Маэстро, – холодно отозвался Оскар и поклонился. Поклонился! И всунул горстку прохладных хрупких пальчиков в Вадикову ладонь.

Хихиканье позади усилилось. Вибрировали все, кроме Лоры, безмятежной Лоры, невинной Лоры, которая не видела ни одного треклятого «Кабачка “Тринадцать стульев”», конечно, не видела, потому что она, единственная, еще даже, наверное, тогда не родилась.

Пропало дело, подумал Вадик мрачно, пожимая холодные Оскоровы пальцы. До самой смерти быть мне теперь паном Режиссером.

– Пан Адвокат, – бессильно сказал он Егору, но это был, конечно, удар вхолостую.

Они еще немного потоптались на месте, посмеиваясь, толкаясь и примеряя друг на друга клички, но по сравнению с паном Режиссером все прочие варианты действительно оказались бледны; и наконец Ваня, отмахнувшись последовательно от «пана Буржуя» и «пана Директора», вздохнул и шагнул вперед, к аккуратному человечку, отгородившемуся своей строгой табличкой, как щитом, от их неуместного веселья.

– Ну вот что, э-э-э... Оскар, – сказал он, укладывая на некрупное плечико свою увесистую руку. – Пора ехать, девочки устали. Где ваша машина?

Плечико немедленно застыло и обратилось в лед, и широкая, покровительственная Ванина ладонь увяла и неловко скользнула прочь.

– Машина, – повторил тогда Оскар. – Конечно. Она здесь, недалеко. Идемте.

Город снаружи выглядел так, словно в нем всего одна улица: глядящиеся друг в друга вывески, красные черепичные крыши. Горизонта не было – одни только толстые невысокие европейские горы, причесанные и приличные. На крошечной бесснежной парковке возле здания вокзала их дожидался коричневый фольксвагеновский микроавтобус, блестящий и стерильный, как конструктор «Лего», с румяным мужиком за рулем. Мужик был почти свой, улыбчивый здоровяк, и даже дымил в окошко, сжимая сигарету в обветренной красной лапе, но, пока толпились и грузили багаж, из машины не вышел и не сказал ни слова.

В салоне было тепло и пахло цитрусами, как будто вместо табака водитель курил апельсиновые корки.

– Можно вначале поехать и взглянуть на площадку, – вежливо предложил Оскар, компактно устроившись на сиденье. – Пан-режиссер наверняка желает взглянуть на площадку.

Вадик прислушался к себе и понял, что площадку смотреть не желает. В идеальном варианте – вообще; и уж, во всяком случае, не сегодня. Вадик желал выпить. Может быть, недолго поглядеть на Лору, как она снимет куртку, разбросает свои космические ноги и полулежа будет тянуть водку со льдом. Или не глядеть, черт с ним. Но выпить требовалось срочно, и не ерундового самолетного шампанского. Он сморщился и поднял глаза, и Ванька все понял. Ванька, конечно, был барин и пижон. Но всегда все правильно понимал.

– Завтра площадка, – сказал он. – Ну, или там... Попозже. Сегодня – отдыхать. Поедьте в номера.

Вадик приготовился было к недолгому движению к благословенным номерам, к покою, к дремлющему на дне чемодана литру беспешинного «Чиваса», но из этого снова ничего не вышло, потому что Соня – черт, он совсем забыл про Соню – внезапно приподнялась с места, слегка нагнув голову, чтобы не удариться о низкий потолок микроавтобуса, и улыбнулась жарко, настойчиво:

– Стойте. Дайте мне минуту, я хочу сказать. Оскар, будьте добры, попросите водителя подождать.

Ей не нужно было оборачиваться, чтобы проверить, исполняется ли ее просьба. Она и не обернулась.

– Ваня, – сразу тревожно сказала Лора. – Ваня, поехали, пожалуйста.

– Мальчики, – сказала Соня. – У меня в чемодане, в самом верху. Кто там ближе, – и кто-то, оказавшийся ближе, уже поднимался, протискиваясь между тесно составленных сидений.

Она вытянула руку, и недолго подержала ее ладонью вверх, и полторы минуты спустя просто сжала пальцы вокруг узкого бутылочного горла.

– Спасибо, милый, – сказала она, не уточняя и не оглядываясь. – Там еще футляр с рюмками.

И застыла, не опуская руки. Безмятежная, как секвойя. Как еще одна из древних окрестных гор.

Бутылка выглядела многообещающе, но в целом, в целом это, конечно, было возмутительно. Чертова примадонна. Поднимите мне веки. И ведь в самом деле никуда сейчас не поедем, пока она не позволит, подумал Вадик и попался, потому что Соня немедленно учуяла в свежем салонном воздухе кислый след неодобрения. Как ослепший хищник, полагающийся только на слух, она склонила голову набок и замерла, ища источник, и нашла почти сразу; и Вадик обреченно сжался, а она повернула к нему лицо – уставшее после перелета, бледное, заурядное, сорокалетнее. А потом включила свои киловатты.

С близкого расстояния это было еще нестерпимее, чем с экрана или со сцены. Мог бы уже привыкнуть давно, хихикнул тонкий голос, прячущийся в дальнем уголке ошпаренного Вадикова мозга, но вступать с ним в спор было некому.

– Прости, Вадичек, – сказала Соня и положила руку ему на плечо, хотя нужды в этом никакой не было, потому что ничтожный, скорчившийся Вадик и так уже покаялся и оглох. – Я быстро. Я просто... Я одну вещь скажу, и поедем. Вот, возьми.

Перед ним возникла маленькая серебряная рюмка с мерцающим рыжим нутром, наполненная с горкой, и что-то крепкое, пахучее дрожало внутри этой рюмки выпуклой жидкой линзой, натянутой между тонкими бортами. Он схватился за нее, как тонущий – за хрупкий прибрежный куст, и немедленно облил себе пальцы.

– Не пей пока, – запретила Соня.

Как будто он смог бы.

– Ну что, готовы? – спросила она, и отвернулась наконец, и отпустила его, и он почувствовал облегчение, какое, наверное, испытывает заяц, шесть километров бежавший зигзагами в ярком свете автомобильных фар, в тот самый миг, когда фары эти гаснут.

– Это сорокалетний «Гленфиддик», – сказала Соня, всплескивая початой уже бутылкой и пересчитывая их глазами, с Оскаром – девятерых, сидящих к ней лицом. – Таких всего шестьсот бутылок. Мне подарили... несколько, и я подумала, с кем еще их пить, как не с вами. Так вот. Я люблю вас.

Голос ее звучал хрипло и нежно. Хорошо звучал. Очень правильно звучал.

– Я уже думала, мы никогда... вот так не выберемся. Я столько об этом мечтала, ребята, дорогие мои. Я правда отказалась бы играть, если бы нам нельзя было вот так поехать, вместе, как раньше... Просто послала бы их к черту с этим дурацким сериалом. Так что давайте выпьем. Да? Выпьем? Давайте. За нас.

Шотландский сингл молт был хорош. Буквально стоил каждого года, проведенного им в дубовой бочке или где они там выдерживают свое односолодовое жидкое золото. Такой виски не стоило пить залпом, но Вадик перевернул рюмку, жадно глотнул и зажмурился, чувствуя, как его понемногу начинает отпускать. Ваня обычно храбрится: творческая ты душа, мы сто лет ее знаем, двести, она всегда это делает, хватит уже падать в обморок. Я старый, подумал Вадик. Старый, как эта дорогушая чертова бутылка, и не я один, все мы старые, кроме Ванькиной трофейной Лоры. Старые умные сволочи, тертые калачи. Но если я сейчас обернусь и посмотрю на них. Я не стану этого делать, но если вдруг я все-таки обернусь. Они все будут сидеть с детскими лицами, как первоклассники, не дыша. Как беспомощные индийские мартышки перед своим удавом. И хотя мы прекрасно знаем, что дурацкий этот сериал нужен в первую очередь именно ей. Что это она выбила из Ивана денег, например. Пристегнула к жирной Ивановой инвестиции не самую позорную киностудию. Напрягла миллиард своих многочисленных знакомцев, звонила, наносила визиты. Включала чертовы киловатты. Ужинала, улыбалась, просыпалась в неожиданных постелях. Мы знаем ее сто лет, Ванька прав. Способно ли это защитить нас хоть самую малость? Черта с два.

Он поднял глаза и взглянул на нее, все еще стоявшую в проходе с поднятыми руками, готовую дирижировать их восторгом. Ну давай, подумал он осторожно. Отпусти нас. Поехали уже. Надо было отдать ей должное, она редко пережимала. Никакой жадности; к чему жадничать, когда источник – вот он, всегда под рукой. Достаточно было взглянуть на нее: усталость исчезла, щеки порозовели, теперь это было другое лицо. Наполненное. Сытое. Черт. На это она, пожалуй, снова может среагировать, подумал Вадик опасно, и поспешно принялся ловить в зеркале заднего вида глаза румяного симпатичного здоровяка за рулем, и не поймал. Здоровяк сидел как прибитый с каменным слепым затылком, в зеркале было пусто.

– Налить еще? – хрипло спросила она в самое Вадиково ухо, и он вздрогнул – позорно, ужасно, всем телом. Чуть не выронив рюмку.

Старый я стал, сказал он себе тоскливо. Нервы ни к черту.

– Налей, – вяло согласился он и обернулся.

Лица у них и правда были детские, и только Оскар глядел на него напряженно, не мигая, с почти непристойным любопытством.

Глава вторая

Белый вагон канатной дороги, смиренно лежащий в бетонных объятиях пустынного павильона, больше всего походил на приплюснутый троллейбус-переросток, способный с легкостью проглотить всю их крошечную компанию вместе с багажом. Ужасно не хватало людей. Супружеских пар средних лет с недешевым горнолыжным снаряжением. Дурно воспитанных, развязных европейских детей. Юных славянских красавиц с надменными лицами. Торжественных местных билетерш. Туристической сладкой суматохи, отложенного счастья. Павильон был пуст и заброшен, как супермаркет в полночь, – занавешенное окошко кассы, девственно чистые урны, холодные голые углы. Он не приглашал зайти, а, напротив, выталкивал; и потом, внутри наверняка нельзя было курить.

– ...Они меня не впустили, Маша! Разговаривали со мной через дверь, – сказала мама. – Ты можешь это себе представить? Через дверь.

– Они просто боятся, мам, – Маша зажала телефонную трубку щекой и, прижавшись коленом к шершавой бетонной стене, распахнула сумку. Где-то там, в рыжих кожаных недрах, пряталась зажигалка. – У них же нет регистрации, а тут ты со своей инспекцией. Зачем ты вообще ходила?

– Правильно боятся, – свирепо сказала мама. – И пусть боятся. Ты хотя бы документы у них проверила? Возьмут и вынесут полквартиры...

Чертова зажигалка сгнула бесследно. В ладонь прыгала всякая лишняя дребедень. Солнечные очки. Авторучка. Ключи от машины. Какого дьявола я вообще взяла с собой ключи от машины. Ну конечно, я проверила их документы. Паспорта, свидетельство о рождении, медицинская карта толщиной с руку, направления, выписки, анализы.

– Я проверила, – сказала она вслух. – Проверила. В детскую гематологию без документов не принимают, мама.

В трубке стало тихо.

– Машка, Машка, – сказала мама после паузы. – Я просто за тебя волнуюсь.

Вот она. Красная пластиковая сволочь. Свисток к тебе приделать. Она вдохнула горький холодный дым и зажмурилась.

– Я знаю, мам. Только ты не ходи туда больше, ладно? Они ненадолго. Им просто нужно обследоваться. И меня ведь все равно не будет целую неделю.

– Да, да, – сказала мама. – Постарайся как следует отдохнуть. И звони мне, слышишь?

Обиделась, подумала Маша, с тоской разглядывая онемевший телефон. Надо еще раз позвонить вечером. Роуминг еще этот дорогуший.

Кто-то кашлянул у нее за спиной негромко и вежливо, и она обернулась.

– Нам пора, – серьезно сообщил Оскар. – Все уже внутри.

Он стоял совсем близко, почти вплотную к ней, – подслушивал, что ли? Какой все-таки странный тип. Подкрался. Она инстинктивно отступила на шаг, увеличивая расстояние, и улыбнулась виновато и обезоруживающе. Когда не знаешь, как реагировать, это самое простое. Улыбаться.

На улыбку Оскар не ответил. Тусклое сосредоточенное личико было поднято к ней, но глаза глядели мимо, словно ее вообще здесь не было.

– Извините, – начала она и зачем-то протянула к нему обе руки – с телефоном и недокуренной сигаретой. – Я просто...

– С другой стороны, – сказал он, обращаясь к телефону. – Если вам нужно еще кому-то звонить, лучше сделать это сейчас. Там, наверху, мобильная связь не работает.

– Совсем? – спросила она глупо. – А... если кому-нибудь плохо? Сердечный приступ? Если нужно скорую помощь вызвать, спасателей?

Оскар пожал плечами, и она была почти уверена, что он ответит: ну и что? Подумаешь, приступ. Но он сказал всего лишь:

– Вам не о чем волноваться. Для экстренных случаев у нас есть радиопередатчик.

– Конечно. Передатчик. И сигнальные ракеты, – быстро сказала Маша. – И еще можно жечь костры.

Ну же. Улыбнись.

– Бросать вниз бутылки с записками, – закончила она уже безнадежно.

Он терпеливо стоял и скучно смотрел в сторону. Маленький, ниже почти на голову. Блестящая темная макушка с гладким пробором, замершая на уровне ее подбородка, источала едва уловимый фруктовый аромат – детское мыло? шампунь? Взять его за плечики и встряхнуть. Пощекотать, подумала она хищно и тут же представила, как он розовеет, корчится и хихикает и отталкивает ее руки. Образ вышел яркий и совершенно непристойный, и она с мучительным стыдом поймала себя на том, что даже, пожалуй, немного качнулась вперед. Неужели я и правда сейчас его схватила бы, подумала она, возвращая руки на место, испуганно поднимая их к лицу. Сигарета, раздавленная, сломанная надвое, жалобно висела между пальцами.

Шагая за ним по асфальтированной чистой площадке назад, ко входу в павильон, волоча за собой неодобрительно скрипящий колесами чемодан, она чувствовала себя большой и нескладной. Унылая дура. Похотливая медведица. Подняться наверх, бросить вещи и выпить. Заснуть в ботинках и не вставать до полудня. А с завтрашнего дня – прогулки. Горный воздух. Мясо на гриле, горячее вино. Семь дней счастья.

В павильоне царил нег. Авангардный отряд сорокалетнего «Гленфиддика» успел уже раздать свою жгучую прекрасную суть,

разлился огнем по венам, наполнил глаза светом, и опустевшая пузатая бутылка – свидетель грехопадения – виновато стояла посреди платформы на скользком керамическом полу. Светлая курортная плитка пестрела мокрыми дорожками следов. Грязь даже не пыталась притвориться местной – это была настоящая московская слякоть, затаившаяся в бороздках подошв, контрабандой проникшая через границу, две тысячи километров проспавшая в самолете, равнодушная к мрамору аэропорта и перламутровому вокзальному перрону. Дожидавшаяся, казалось, именно этой сухой кремовой чистоты, чтобы выплеснуться мстительно и небрежно. Пометить и нарушить. Маша взглянула себе под ноги и с раскаянием увидела растекающиеся мутные струйки. Желтые замшевые ботинки Оскара следов не оставляли.

Наблюдая за его приближением, все снова немного погасли, как нашкодившие дети. Вагон – огромный, по меньшей мере сорокаместный – дремал в своем стойле, зияя распахнутыми провалами раздвижных дверей, но никому и в голову не пришло забраться внутрь без приглашения. Аккуратно ступая по чистому, Оскар дошел до широкого проема и застыл возле него, нагнув корпус в легком поклоне, как гостиничный швейцар из старого кинофильма.

– Прошу вас, – сказал он.

Они послушно тронулись с места, немного толпясь у входа, болтая и мешая друг другу, цепляясь чемоданами, а войдя, не сговариваясь, устремились в хвост вагона, к последним рядам, как сделали бы, скажем, в экскурсионном автобусе, не желая разбивать компанию и смешиваться с другими пассажирами. Только не было ведь никаких других пассажиров, не было и быть не могло, потому что Ванька еще в самолете, или нет, еще в Москве горделиво объявил, что выкупил «горную халабуду» целиком, и ровно по этой причине павильон выглядел таким заброшенным. И теперь они, привилегированные гости, сидели в мертвом отключенном вагоне, в котором не было ни машиниста, ни даже места для него: в головной части, прямо под

панорамным лобовым стеклом, торчали скользкие пластиковые кресла-близнецы. Оскар юркнул в вагон последним, задержался на секунду, пересчитывая их глазами, а затем удовлетворенно уселся сбоку, сложил ладони на коленях и замер.

В течение двух долгих тихих минут не происходило ничего, и Маша неожиданно почувствовала непреодолимое желание удрать назад, в павильон. Оказаться снаружи, когда этот сверкающий вагон с лязгом защелкнет челюсти и поползет, отматывая толстые косы железных канатов, к верхушке спящей под снегом горы; сам по себе, никем не управляемый, никому не повинуюсь, как сумасшедший кинговский поезд. Она и вскочила бы, но вначале нужно было как-то подвинуть Вадика, развалившегося в соседней пластмассовой люльке. Вадик, пробормотала она тревожно, Вадик. И толкнула его плечом. Он мгновенно повернул к ней свою худую подвижную физиономию и с восторгом зашептал:

– Блейн! – и сделал страшные глаза. – Блейн, Машка.

И она тут же успокоилась. Просто надо выспаться.

– Напился уже, – нежно сказала она, протянула руку и коснулась его небритой щеки. Удивительный он все-таки забулдыга. Три часа как с самолета – и уже пьян, расхристан, рубашка вон торчит, и даже ухитрился зарости какой-то неопрятной бородищей. Известный режиссер. Персонаж светских хроник. Лауреат некрупных фестивалей.

В павильоне тем временем что-то неуловимо изменилось. Маша обернулась и увидела, как открывается стеклянная дверь и на пороге возникает уютная полная пани в сером вязаном платье и шлепанцах, замирает ненадолго, ожидая, пока глаза привыкнут к прохладным бетонным сумеркам, а затем, разглядев их, смиренно сидящих в вагоне, принимается кивать и улыбаться, приветливо сверкая зубными протезами. Никакой верхней одежды на ней не было, и эти тапочки – выглядело все так, словно где-то совсем рядом, предположим, посреди аккуратной парковки, где полчаса назад они бросили коричневый микроавтобус, из-под асфальта

неожиданно и ненадолго вылез пряничный домик, в котором пахнет корицей и свежесваренным кофе. И эта румяная фрау, не снимая тапочек и не накидывая пальто, просто торопливо *перебежала* из одного измерения в другое.

Теперь она тоже спешила, ловко огибая московские мстительные лужи на европейском кремовом полу, прижимая обе руки к груди, кивая и улыбаясь Оскару, как показалось Маше, несколько заискивающе (возможно, и потому еще, что Оскар следил за ее перемещениями очень скептически). За несколько кратких мгновений быстрая пожилая леди на бегу легко подхватила покинутую бутылку из-под сингл молта, швырнула ее в урну и пересекла павильон, и в противоположном его углу немедленно зажегся свет, что-то задвигалось, загудело, пришли в движение какие-то рычаги и рубильники, ток побежал по кабелям, тяжелый вагон проснулся, дрогнул и негромко зашипел, и массивные двери сомкнулись осторожно, как большие белые ладони.

А потом серая бетонная коробка вместе с седой сеньорой в тапочках, желтым электрическим светом, грязными следами и одинокой бутылкой в урне – словом, вся, целиком – уплыла у них из-под ног и осталась позади. Величественно дрожа и подергиваясь, как нетерпеливая, но деликатная лошадь, застекленная железная клетка поехала вверх. Какое-то время виден был только тихий замусоренный склон и просека, зажатая с двух сторон черными еловыми стволами, толстыми, как фонарные столбы, и изогнутые лохматые ветки, беззвучно роняющие вниз рассыпчатые охапки снега; но в воздухе, льнущем к панорамным окнам, уже сгущалось какое-то смутное напряжение, едва заметная рябь, какая бывает в портовых городах за два квартала до моря, еще скрытого изгибами улиц и зданиями, еще почти не существующего и уже неизбежного. Кривые еловые шеи пригнулись, и небо – огромное, белесое, зимнее – надвинулось на них со всех сторон, а гора внезапно вильнула и ухнула куда-то вбок, оставив им в качестве опоры только кубометры холодного жидкого воздуха с редкими туманными

тромбами, и высоченные хвойные мачты разом превратились в детальки игрушечной железной дороги, которые легко разбросать щелчком пальца. Маленькое лиловое солнце равнодушно смотрело в сторону. Мир исчез. Осталась только прозрачная камера, воздушный батискаф, в котором они, взрослые уставшие люди, прижавшись носами к окнам, молча пересекали небо. Невидимые никому. Всеми позабытые. Свободные.

– Ой, мама, – сказала Маша вслух и засмеялась.

Глава третья

А наверху павильона не было; открытая бетонная платформа и крошечная запертая будка, похожая на сельский журнальный киоск. Как только стихли стоны и лязг огромных лебедек, втащивших вагон на гору, и раздвижные двери с прощальным шипящим выдохом распахнулись, обрушилась тишина, белая и плотная, как пуховая перина; и тишину эту неловко было нарушить шарканьем ног и скрипением чемоданных колесиков, так что добрых полминуты они сидели, не решаясь ни пошевелиться, ни заговорить, смущенные чистотой и покоем, глядевшими на них сквозь широкие вагонные окна.

– Так, – наконец сказал Ваня и три раза громко хлопнул ладонями, разгоняя морок. – Просыпайтесь. Быстро, быстро, на выход, – и решительно поднялся, стряхнув со своего плеча отяжелевшую сонную Лорину голову, и зашагал к выходу. Магия не развеялась – напротив, как будто стала гуще, и они поспешно вскочили и засобирались потому лишь, что, потеряй они еще хотя бы минуту, тяжелый вагон, казалось, способен был передумать, защелкнуть двери и забрать их отсюда, отправить назад, к подножию, в суету и слякоть.

Лора вышла на платформу последней. Ее мутило. Она не привыкла пить натошак. Она вообще не привыкла пить с утра. Кислое самолетное шампанское выветрилось, оставив тупую пульсирующую иглу в левом виске, а «Гленфиддик» не сумел ни согреть ее, ни развеселить, а только обжег горло и обволок язык железом. Сейчас бы кружку молока и горячий душ. И спать. Как же много они пьют. Это же невозможно – столько пить.

– Какая-то ты бледная, Лорик, – сказал Егор, укладывая ей на плечо свою ухоженную ладонь, желтую от искусственного загара.

Убери, подумала она, содрогаясь, глотая вязкую слюну, убери руку. Он растопырил пальцы и взялся покрепче, погладил ключицу; сытые

индюшачьи щеки хищно всколыхнулись. Она тоскливо отвернула лицо. Ваня стоял спиной, довольный, торжествующий, как экскурсовод-энтузиаст в Эрмитаже. Склонить голову к плечу, открыть рот. Ухватить зубами три пальца или четыре – сколько поместится. Сжать челюсти.

– Очень бледная, – повторил он жарко, вполголоса, и изогнулся, и вцепился второй рукой.

Она поглядела себе под ноги, давясь беспомощной дурнотой. Перрон под ее остроносими итальянскими сапогами был сизый и сухой, промерзший до самой земли, равнодушный.

– Красота какая здесь, вы только посмотрите, – спасительно прошелестело рядом, и ладонь, терзавшая Лорину шею, тут же обмякла.

– Егор, застегнись, пожалуйста. Холодно же, опять останешься без голоса. Иди сюда.

Лора злорадно обернулась и принялась смотреть, как индюка разворачивают, застегивают и укутывают, как подвязывают под бритым подбородком шелковый «гермесовский» шарф.

Раздраженный, но покорный, он свесил руки вдоль тела и не сопротивлялся.

– Лиза, – бормотал он вяло и безнадежно. – Лиза, ну ладно.

– И таблетки забыл, конечно, да? – продолжала Лиза. – Забыл?

Сейчас она еще плюнет на платок и потрет ему щечку. Или потребует, чтоб он высморкался, с восторгом подумала Лора, и подошла поближе, и заглянула в мягкое Лизино лицо. Да она издевается над ним. Конечно издевается. Не может быть, чтобы она это всерьез. Но белесые Лизины глаза не выражали ничего, кроме заботы. Вот это выдержка. Не женщина, а самурай.

– Вам бы тоже одеться потеплее, Лариса, – любезно сказала Лиза, не оборачиваясь, словно не желая выпустить мужа из поля зрения. – Эта ваша курточка коротенькая... она же совсем не греет, наверное.

А ведь я, пожалуй, не выдержу здесь неделю, подумала Лора, чувствуя, как улетучивается мимолетная радость от индюкова

унижения. С «Ларисой» она уже смирилась; чертовы стервы сговорились с самого начала и упорно, все до единой, звали ее Ларисой, но ни одна из них так и не перешла с ней на «ты». И конечно, они были отвратительно, невыносимо вежливы.

Она вздернула подбородок и приготовилась сказать дерзость. Впиваясь взглядом в золотой пушистый затылок, в дорогое бесформенное пальто, которым женщина, стоящая к ней спиной, задрапировала свое расплывающееся тело, она подбирала слова, и слова расползались, непослушные и неподходящие, а потом застегнутый на все пуговицы индюк и его заботливая жена расцепились и отошли поближе к Ване и Оскару, и сразу стало поздно.

– До виллы меньше километра, – сказал Оскар и скупно махнул рукой в середину безмолвной белизны, где змеилась между толстыми еловыми стволами неширокая снежная дорожка. – Гости обычно ходят пешком, очень приятная прогулка. У нас есть снегоход, так что багаж можете оставить на платформе. Я позже за ним вернусь.

– Да какой там багаж, – сказал Ваня. – Возвращаться еще. Так донесем, да, мужики? – и схватился за два чемодана сразу, свой и Сонин. – Вадик, Машке помощи!

Веди нас, Сусанин, – велел он Оскару, широко улыбаясь.

Снег, хоть и плотно укатанный, чемоданные колеса не принял, и багаж пришлось тащить по старинке – на весу. Чтобы не растягивать мучения, мужчины с места пустились в бодрый галоп, гуськом по неширокой тропе, и быстро скрылись из вида. Откуда-то спереди слышны были Вадиковы задыхающиеся жалобы:

– Пижон ты, Ваня. Пижон!.. Человечество... придумало... двигатель внутреннего сгорания в том числе и для того... чтобы не таскать тяжести. Машка, дружище, что ты там понапихала в свой чемодан?

Осторожное зимнее солнце красило сугробы розовым, снег испуганно падал с потревоженных веток, воздух был густ и сладок, как холодный яблочный сок. Лора начала спускаться последней и

ступила на тропу. И увязла тут же, не сделав и шага. Длинный острый каблук легко вошел в утоптаный снег и застрял в нем, словно рыболовный крючок в мягком рыбьем боку. Ваня, сказала она тихо, не пытаясь позвать на помощь, а просто затем, чтобы наконец пожалеть себя – как следует, вздохнув, – и легко подергала ногой, проверяя, насколько сильно она застряла, и убедилась: намертво. И спустила с платформы вторую ногу. Ва-ня.

Голоса удалялись, запутываясь в мороженых еловых стволах, так что для верности ей пришлось постоять еще несколько минут неподвижно, беззвучно, и только после она забилась, вырываясь, обещая себе с детской мстительной радостью: замерзну здесь, и никто не заметит. Тонкая сапожная кожа жалобно скрипела, скулили застежки-молнии, но слезы никак не приходили. Тогда она позволила себе вытащить ногу, потому что на самом деле это ведь было нетрудно сделать с самого начала, завалить ее на пятку и вытянуть, и свободной этой ногой она еще раз пырнула снег, втыкая каблук поглубже, рискуя вывихнуть щиколотку, и качнулась вперед, размахивая руками, отчетливо представляя, как нелепо выглядит в своей кокетливой курточке, в тонких джинсах, в чертовых этих блядских сапогах, но даже это не помогало, так что пришлось наклониться и расстегнуть их, и выпрыгнуть босиком. Она поймала ступнями холод и небыстро пошла, не разрешая себе ни подняться на цыпочки, ни побежать, и на четвертом шаге, когда заломило пальцы, наконец с облегчением заплакала, согревая щеки слезами, чувствуя, как усмиряется злость, проходит головная боль и исчезает железный привкус во рту. Сапоги остались торчать под платформой, жалкие, вывернутые наизнанку, похожие на брошенные кроличьи шкурки.

Метров через пятьдесят дорожка нырнула вправо. Сразу за ее изгибом, преграждая путь, стояла горластая стерва и закуривала, уютно загородившись от ветра ладонью. Обогнуть ее незаметно было невозможно. Лоре пришло в голову, что ее вообще нельзя

обогнуть и придется стоять, не дыша и коченея, дожидаясь, пока не кончится сигарета.

– Лариса, – приятно сказала стерва, не глядя. – Что же вы так отстали?

А потом подняла глаза. И увидела сразу всё: Лорино лицо и обернутые мокрым нейлоном босые ноги. Мизинцы, кажется, начинали синеть.

– Ну что за дура, – сказала она совсем другим голосом. – Идиотка.

А потом выплюнула сигарету. Потянулась, словно намереваясь, подумала оцепеневшая Лора, взять ее на руки, но вместо этого быстро столкнула ее к краю дорожки, где обнаружился сваренный из железных труб невысокий парапет, и усадила. Опустилась на корточки и схватила обе мокрые, бесчувственные Лорины ноги. Крикнула, оглянувшись:

– Ванька! Иван, твою мать!

Вытащила из кармана две толстых вязаных варежки.

– Таня, – вежливо сказала Лора. – Подождите, Таня. Не надо. Мне не холодно совсем.

– Сиди тихо, – рявкнула Таня и натянула варежки на изумленные Лорины ступни. – Только попробуй встать, – сказала она свирепо и помахала перед Лориным лицом неожиданно длинным предостерегающим пальцем, а потом вернулась на дорожку и быстро исчезла за деревьями.

Промокшие ступни ныли, плотная шерсть кусалась невыносимо, железная труба была ледяная. Звуки исчезли. Лора поджала ноги, немного поерзала, устраиваясь поудобнее, и почувствовала, что улыбается.

Спустя десять минут зычный требовательный голос послышался снова, и громкая сердитая женщина вернулась; позади, навьюченный двумя раздутыми чемоданами, покорно маячил ее неразговорчивый муж. Вани с ними не было.

– Вот, – сказала Таня, распахивая багаж и выуживая – внезапно – валенки, белые войлочные валенки в расшитом нарядном мешке. –

Надевай. Это мои любимые, так что не вздумай испачкать. Ну? – нетерпеливо спросила она потом. – Или ты думала, мы тебя на руках до дома понесем? – И добавила, потому что Лора все сидела, тупо разглядывая свои объятые варежками ноги, и никак не могла заставить себя пошевелиться:

– Есть масса других способов обратить на себя внимание. Бегать босиком по снегу – это дурость, деточка.

И тогда Лора всунула мокрые ноги в широкие чужие валенки, поднялась и послушно потащилась следом. Мысль о том, что дорожные итальянские сапоги (пятьсот долларов за штуку) теперь уже точно брошены гнить в снегу навсегда, все-таки немного утешала.

Глава четвертая

Через два с половиной часа они были уже пьяны до безобразия, причем в этот раз пьяны всерьез, без оглядки на необходимость прилично выглядеть в самолете, проходить паспортный контроль и следить за багажом. Пьяны как люди, которые провели почти целый день в дороге и впереди у них неделя сладкого безделья и тишины. Которые пообещали себе с завтрашнего дня все делать по правилам: вставать не поздно, завтракать как следует, гулять помногу, – но сегодня у них нет даже сил толком разобрать чемоданы.

Необъяснимая тоска, навалившаяся еще у подножия, рассеялась вмиг, как только им, запыхавшимся от нежданной километровой прогулки, открылся вид на дом. Потому что дом (Оскар упорно звал его виллой, а Ваня с Вадиком, едва увидев, тут же окрестили Отелем) – так вот, ожидавший их дом оказался просто великолепен. На толстых, опоясанных шоколадными балками кремовых стенах тяжело лежала темная глазурь черепицы. Блестели оконные стекла, зажатые в мореных деревянных рамах, изящно гнулись водостоки. Гостеприимно зияло каменное крыльцо. С фасада топорщились черные кованые фонари. Средневековую монументальность несколько портила охапка ярких пластиковых лыж, небрежно сваленная возле входной лестницы.

Приблизившись, Вадик с восторгом вздохнул, бросил багаж и приосанился.

– Там... – произнес он неестественно низким и глухим голосом. – Вон там это произошло. – И простер указующую руку.

Но никто не узнал цитаты, так что, оглядев их умоляющим взглядом, он сказал:

– Ну ребята. Ну вы что? Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его.

– Позвольте мне погрузиться в прошлое, – радостно продолжил Ваня и приложил руку ко лбу, и они облегченно засмеялись.

– Это ЕГО трубка. Это вот – ЕГО куртка. А вот это – ЕГО альпеншток. – сообщил потом Вадик.

– А это Кайса, – сказал Ваня. – Поразительная дура. В своем роде феномен. А что, Оскар, нет у вас тут собаки?

– Собаки нет, – невозмутимо отозвался Оскар, терпеливо дожидавшийся окончания разговора. – Здесь очень безопасно. Негде заблудиться. Собака не нужна.

А затем он взошел на крыльцо и, повозившись немного с дверным замком, распахнул дверь. Внутри Отель оказался нисколько не хуже, чем снаружи, предъявив им поочередно тяжелые дубовые двери, испещренный благородными царапинами паркет, полированную барную стойку и разнородную семью морщинистых кожаных диванов в гостиной, и даже какие-то нестыдные картины с охотничьими мотивами в аккуратных рамах, там и сям развешенные по стенам. Вкусно пахло пылью, печной сажей и лыжной мазью. Нужно было немедленно разжечь огонь в камине и выпить – по крайней мере, Ваня был в этом абсолютно уверен, – но Оскар нудел что-то о спальнях, которые хорошо бы распределить сразу же, и стремился продемонстрировать Ване продуктовые запасы, способ регулировки отопления и местонахождение электрического щитка. Оскар, дружище, проникновенно сказал Ваня. Мы тебя взяли с собой как раз для того, чтобы не париться по поводу отопления и щитка. Пойдем-ка лучше бар посмотрим.

Но в этот самый момент Таня с Петей привели Лору, ледяную, с горестной укоризненной складкой возле губ, и на ногах у нее были два куса мятого белого войлока, и ехидная Танька, закуривая, сказала:

– Ваня, я надеюсь, ты взял ребенку какой-нибудь практичной одежды тоже.

Так что Ваня мгновенно разозлился. Из-за «ребенка», из-за несчастного Лориного лица. Из-за того, что вся эта синагога, между

прочим, стоила денег: авиабилеты, выкуп горнолыжного пансиона и даже услуги зануды Оскара, не говоря уже о самом этом чертовом сериале, который и нужен-то был, по большому счету, чтоб порадовать Вадика, потому что Вадик, просидевший одиннадцать месяцев без работы, окончательно уже отчаялся и пил как ирландец. И уж по крайней мере, всего этого – выезда на неделю на гору – точно можно было не затевать. Он стоял посреди гостиной и чувствовал себя дураком, сентиментальным дураком. С ботинок на паркетный пол текло. И тогда пришел Вадик, помятый, небритый, со счастливой улыбкой во весь рот. Ни фиги себе тут бар, сказал Вадик и поднял вверх руки: в каждой было зажато по бутылке. Калашников, признайся, ты скупил все бухло в Восточной Европе?

И они выпили за Ваню. Быстро разлили, невзирая на Оскаровы стоны, организовали какие-то стаканы, расплескали по ним содержимое бутылок и наговорили Ване маленьких бессмысленных нежностей. Иванище, сказали они, вот это да, ты только посмотри вокруг, ну ты и буржуй, – и принялись водить вокруг него обычные свои хороводы, а он так и не успел снять жаркие полярные ботинки, с которых по-прежнему текло на паркет; и он знал, конечно, что им ничего не стоит все это говорить, никогда не стоило, потому что и двадцать лет назад, и сейчас они были просто московские избалованные дети, щедрые на слова, но, когда они звали его буржуйем, ему всегда было очень приятно. Он понимал, что это глупо. Конечно, понимал. Не говоря уже о том, что слово «буржуй» в их интерпретации вряд ли можно было считать комплиментом.

Скорее всего, они так быстро надрались именно потому, что он разозлился, и самый простой и очевидный способ утешить его заключался в том, чтобы пить его здоровье. Им просто пришлось обернуться цыганским хором и танцевать вокруг него с рюмками и тостами, «к нам приехал наш любимый», и, надо отдать им должное, они с легкостью обернулись, несмотря на усталость и едва отступившую тоску. Никто не пропустил ни рюмки, все улыбались, а после третьего тоста им даже не требовалось прикладывать для

этого усилий. Благодаря крепкому коктейлю из алкоголя и разреженного горного воздуха они не просто напились. Они нарезались.

Тревожная и все еще трезвая, Лора смотрит, как Ваня пьет, размякает, как краснеет его лицо и тяжелеют веки. Ей даже приходит в голову шальная мысль отнять у него стакан, выбить из рук, разлить. Схватить его за плечи и сказать: не пей. Подожди, не пей. Они тебе врут. Они тебе не друзья. Лора знает, что неправда. Люди, которых она не любит, уже были очень Ване близки, когда она, пятилетняя, задувала полосатые турецкие свечи на кривоватом мамином торте. Она видит, что им действительно хочется порадовать его и развлечь. Более того, она признает, что ему сейчас хорошо, и потому тем более не может сформулировать причину, по которой хоровод, в котором они кружат вокруг ее мужа, напоминает ей танец маленьких зубастых рыб, дерущих в мутной воде неповоротливого тугомясого быка.

Видение настолько реально, что ее бросает в дрожь. На мгновение ей даже чудится привкус крови во рту. Чтобы заглушить его, она делает большой глоток из своего нетронутого стакана. Ладно, думает она. Ладно.

– А давайте, – говорит она ломким детским голосом, – давайте что-нибудь поедим, пожалуйста. С утра же не ели.

– Ты голодна, Лора прекрасная! – воскликнул расхристанный, всклокоченный Вадик. – Это мы, старые алкоголики, способны питаться вискарем. С другой стороны, – добавил он, подумав, – я и сам бы не прочь перекусить. Где здесь кухня? Пошли, наделаем бутербродов! Оскар, у нас же есть из чего наделать бутербродов?

– Разумеется. У нас большие запасы еды, – укоризненно сообщил Оскар, внезапно материализуясь.

На добрых полчаса они совершенно забыли о нем, словно его вовсе не было в гостиной, а теперь оказалось, он сидит на одном из скрипучих кожаных диванов, в самом углу, тесно прижавшись к могучему подлокотнику.

– Совершенно достаточные для десяти человек на семь дней. Хлеб, рогалики и булочки. Яйца, сыры, колбасы. Молоко, сливки. Макароны. Крекеры. Печенье. Четыре вида фруктовых соков, минеральная вода. Мясо, парное и мороженое. Рыбное филе. Овощи...

– Мясо! – перебила его Соня, становясь между Оскаром и остальными, так что его некрупный силуэт снова исчез из поля зрения. – Вадик, золотце, бутерброды будешь есть на завтрак. Давайте сделаем шашлык. Без разговоров. Шашлык, я хочу шашлыка.

И стал шашлык.

Свежей баранины, конечно, в сверкающем двухдверном холодильнике не нашлось, одна только стерильная европейская говядина и перламутровая свинина, которую и решено было утопить в каком-нибудь стремительном маринаде.

– Отстаньте все, – сразу сказала Лиза, спокойная индюкова жена, закатала рукава, показав полные белые руки с розовыми пяточками локтей, и с удовольствием взялась за блестящий кусок свинины, опоясанный белоснежной глазурью жира.

– Для того чтоб нарезать мясо, пять женщин ни к чему. Займитесь лучше тарелками и сходите кто-нибудь, проследите за тем, как эти пьяницы разведут огонь. В общем, вон из кухни.

Сливочное мерцание столешницы, похожей на кусок застывшего масла, тусклый блеск латунных ручек и необъятность матовых, темного дерева кухонных шкафов не вызвали у нее ни малейшей робости – напротив, именно здесь, возле гигантской восьмиконфорочной плиты, она смотрелась уверенно и на своем месте.

Застрявшая в дверях Лора мечтает пристроить куда-нибудь недопитый бокал с растаявшим льдом и одновременно пытается вспомнить, случалось ли ей видеть эту женщину счастливой где-нибудь еще, кроме кухни; любой кухни, не говоря уже о ее собственной. В просторном и сытом доме Лизы и Егора, где

компания чаще всего и собирается, кухня даже объединена с гостиной, кажется, именно для того, чтобы хозяйка тоже имела возможность участвовать в разговоре. С блуждающей мягкой улыбкой на рыжем лице она непрерывно что-то делала: резала салаты, ставила тесто, смешивала коктейли, мыла яблоки прибегающим детям, а в случаях, когда готовить было уже решительно нечего, все равно отказывалась отрываться от своей щедро обставленной красавицы-кухни дальше, чем на несколько шагов. Вытащенная в гостиную, словно рыба на берег, усаженная на диван, она немедленно блекла, терялась и прекращала взаимодействовать, под любым предлогом возвращаясь назад, к спасительному сиянию висящих под потолком медных кастрюль.

Двадцатилетняя Лора, у которой в холодильнике – вялый лимон, сыр, банка оливок, вермут и замороженная пицца, всегда считала, что это скучно: прирасти к кухонной столешнице, когда можно бродить с коктейлем, тонуть в диванных подушках и смотреть на огонь, красиво курить; но в этой незнакомой кухне нет мужчин, а следовательно, у нее нет здесь зрителей и собеседников, и кухня эта – женское царство, безжалостное к таким, как она. Ей внезапно хочется помочь, выудить какой-нибудь кулинарный талант, заслужить одобрение бело-рыжей женщины, которая режет бледную свинину уверенными сильными движениями, – но ничего не приходит ей в голову. Впрочем, она не одинока. Остальные давно перестали пытаться посягнуть на Лизино счастье. Назойливая помощь Лизу не радует, а раздражает. Не отвлекаясь, Лиза превращает кусок мяса в одинаковые ладные кубики, пересыпает солью, хрустит белоснежными луковичками, а Лора, прячась в дверном проеме, с тоской разглядывает ее уверенную спину, золотой ворох скрученных в узел волос и широко расставленные ноги, и опустив глаза к полу, с удивлением замечает кокетливый браслет на полной щиколотке и маленькие, аккуратно подобранные пальцы ног с неожиданно порочным темным педикюром. Лора впервые видит Лизу без обуви. Глядя на эти ноги, даже

неискушенной Лоре легко представить себе недавнюю Лизину молодость – как она, например, хипповала. Бегала босая, с нечесаными кудрями до пояса, толстыми розовыми пятками и румянцем во всю щеку. И наверняка была у нее поцарапанная гитара в застегивающемся на молнию чехле и плетеная ленточка на лбу. Браслет и темный лак на ногтях намекают на то, что Лиза когда-то пила портвейн и спала с художниками. А потом зачем-то вышла замуж за скучную лощеную копилку для денег.

– Ты уверена, что мы тебе не нужны? – спрашивает Маша, подходя ближе и обнимая Лизу, а затем слегка наклоняется и целует мягкое Лизино плечо, и простота этого жеста – так мог бы сделать ребенок или мужчина, проживший возле этого плеча двадцать лет, – и то, как две женщины с минуту стоят рядом, как Лиза, не отворачиваясь от разделочной доски, легко запрокидывает голову и мимолетно прижимается щекой к большой Машинной ладони на своем плече, их спокойная близость, – все это снова заставляет Лору испытать неловкость и смутную тоску. Лоре некого так обнимать. Более того, чтобы действительно угодить бело-рыжей женщине, ей бы сейчас вообще уйти из кухни – Лиза ведь просила заняться тарелками. Как самая младшая и очень почему-то испуганная сегодня, Лора чувствует себя ребенком, и именно здесь, под рассеянным светом потолочных светильников, возле восьми громадных зубастых конфорок, она с удивлением обнаруживает источник тепла, от которого ей не хочется удаляться. Тем более что приказа «вон из кухни» не послушался никто. Шумная Татьяна снова курит, зажигая одну сигарету от другой; она удобно устроилась на стуле с высокой спинкой, широко расставила ноги и крутит по столу тяжелую латунную зажигалку.

– Дело даже не в сюжете, – говорит она сердито. – Нет, я все понимаю: жанр, пожилые тетеньки-редакторы, фокус-группы с вязанием. Вам оттуда не вырваться. Но язык, Сонь! Вот этот картонный кошмарный люмпенский язык, он-то вам зачем? Столько голодных писателей вокруг, взрослых, с хорошим русским, дайте вы

им хотя бы диалоги переписать по-человечески! Этим вашим сценаристам полуграмотным – им же ценники в магазине доверить страшно, они ошибки делают в каждом третьем слове, господи, школьные тупые ошибки, это уже просто стыдно. Стыд-но! – продолжает она с удовольствием, выпуская дым к потолку.

Соня не слушает ее. Сидя верхом на столешнице, она рассеянно делает из полупустого бокала один крошечный глоток за другим и рассматривает свои узкие ступни, не достающие до пола. Из четырех женщин она – самая маленькая, и эта миниатюрность, пожалуй, делает ее почти некрасивой по сравнению с золотой Лизой, длинной большеротой Машей и стриженной крепкой Таней, по крайней мере сейчас, в этом освещении. Прямо над головой у нее – элегантный софит на длинном плетеном шнуре, и свет, падающий сверху ей в лицо, безжалостен. Глубокие складки возле губ, усталые мешки под глазами. Рука, сжимающая бокал, оплетена выступающими венами. Когда она не чувствует на себе чужих взглядов и перестает стараться, она похожа на грустную маленькую обезьянку. Лора смотрит на нее жадно, инстинктивно пытаясь запомнить ее именно такой: печальной, бессильной, – чтобы в следующий раз не поддаться насильственному волшебству, которое эта женщина умеет включать по заказу, подавляя чужую волю. Выясняется, что именно этот неучтивый взгляд – ошибка. Соня поднимает голову и перехватывает его. Лицо ее собирается, заостряется, подтягивается, и Лору охватывает безотчетный, рефлекторный страх, какой, говорят, испытывают младенцы при виде змей.

– Лариса, – произносит Соня нежно и хрипло, так что у Лоры против воли вибрирует внизу живота. – Вы тоже, оказывается, здесь.

Остальные женщины замолкают и поднимают к Лоре вежливые пустые лица, выталкивающие ее из тепла и света красивой отельной кухни. Лоре хочется заплакать. Она делает шаг назад, в темноту коридора, поворачивается и бежит к выходу, на улицу, к мужчинам.

Глава пятая

А снаружи Оскар, всем своим видом осуждая варварский русский обычай жарить мясо в темноте, на морозе, когда все уже слишком пьяны для того, чтобы получилось что-нибудь стоящее, контролирует приготовления к шашлыку. К моменту, когда Лора в зябкой короткой куртке и Татьянинных белых валенках, надетых назло, огибает обширный Отель и находит их в аккуратной, обсаженной туями беседке, приготовления заключаются в том, что на дощатый стол водружена бутылка принесенного Вадиком виски и разлито по второй. Рюмок пять. Это значит, что Оскару предложили присоединиться, но его рюмка сухая и чистая; следовательно, пить он отказался.

Несмотря на относительно ранний час, вокруг густые фиолетовые сумерки. Еще час-другой, и тьма обещает обступить Отель со всех сторон непроницаемой стеной. Яркий прожектор над крыльцом, освещенные окна первого этажа и кованые фонарики в беседке сообща способны будут отодвинуть ее метров на двадцать, не дальше. Как только наступит ночь, Отель превратится в тускло светящийся батискаф на дне океана.

– Лора-красавица, – жарко говорит Вадик и распахивает объятия. Он еще пьянее, чем полчаса назад. – Выпей с нами, – и принимается гостеприимно шарить по столу.

Индюк, в этот раз застегнувшийся на все пуговицы самостоятельно, неприятно улыбается. Руки он греет в карманах теплой куртки, на кончике аккуратного носа у него капля.

Молчаливый Петя – Петюня, как пренебрежительно зовет его горластая жена, – с ног до головы затянутый в военный камуфляж (и это, пожалуй, довольно бестактный выбор одежды для русского туриста в Восточной Европе, хотя Лоре это в голову не приходит), на Лорино появление не реагирует вовсе и продолжает жаться бедром к одной из ножек зияющего пустотой стола – бутылка и пять

маленьких рюмок не в счет. Компактный, безмолвный, похожий на вертикально застывшую луговую собачку.

Ваня – большой, пышущий нетерпением – тянется к столу, и рюмка тонет в его ладони.

– Ну, – говорит Ваня и несет руку ко рту. Лора с тревогой заглядывает ему в лицо и понимает, что едва не опоздала; разговоры ему уже неинтересны.

– Подождите, – произносит она с веселостью, которой не чувствует. – Налейте и мне тоже.

И готовится морщиться, кашлять, хихикать и тянуть время от этой рюмки до следующей и очень рассчитывает на Вадика, который, если не потеряет связь с реальностью, не позволит остальным пить до тех пор, пока она не будет готова. Она жалеет только, что не успела еще ничего съесть. Поединок, в котором она и Ваня действуют наперегонки, он – пытаюсь напиться до состояния бесчувственной глыбы, а она – не дать ему этого сделать, длится совсем недолго, когда она пьет на голодный желудок. Сегодня ей, кажется, не победить.

Она держит неразбавленный виски во рту до тех пор, пока это возможно, затем глотает, обжигая гортань. Ставит недопитую рюмку на стол.

– Там мясо почти готово, – говорит она, радуясь поводу отвлечь их от следующего раунда. – Что у вас с углями?

И неожиданно происходит скандал.

Ваня – напирющий, яростный, в расстегнутом кожаном пальто на волчьей подкладке, перечеркнутый Оскаром, похожим на недлинный остро заточенный карандаш, – требует немедленно принести ему топор.

– Дров порубим, – говорит Ваня упрямо.

– Я принесу уголь, – отвечает Оскар. – Мы не пользуемся дровами. У нас угольное отопление, угля много. Полный подвал.

– Уголь-шмуголь, – заявляет Ваня, темнея лицом. – А топорами вы пользуетесь?

Оскар раздражает его с самого утра, но только сейчас Ваня может наконец это показать. Раньше было бы неловко, а сейчас, к концу второй бутылки, самое время. Он понимает выпитое как индульгенцию, и нужно торопиться, потому что спустя еще триста пятьдесят он вряд ли устоит перед искушением стукнуть этого надменного сморчка. Он не хочет его бить. Он хочет просто заставить его повиноваться, чтобы вернуть миру ускользающую симметрию.

– Неси топор, Оскар, – тяжело говорит Ваня и делает вдох через замерзшие, сжатые холодом ноздри. – Елку свалим.

– Мы не пользуемся дровами, – неприятно повторяет Оскар. Невысокий, трезвый. Тонкая шея выглядывает из клетчатого отложного воротника. – И деревья рубить нельзя. Я принесу уголь.

– А в камине что у вас горит? – спрашивает Ваня зло, наклоняясь вперед, упираясь кулаками в стол.

– Для камина мы привозим, – отвечает Оскар. – Для камина у нас это...

И скрывается ненадолго за углом дома, и в звенящей тишине (никому не приходит в голову заговорить) слышно, как лязгает железом дверь и скрипят петли. Оскар возвращается; в руках у него – аккуратная серая связка, затянутая пластиковой сеткой. Он кладет ее на столешницу перед Ваней.

– Это же херня какая-то пластмассовая, – удивляется Ваня, разглядывая мумифицированные, гладкие, штучка к штучке деревяшки в упаковке со штрих-кодом.

– Они даже не пахнут ничем. Нормально, они топят вот этим говном, – говорит он, приглашая остальных возмутиться вместе с ним. – Когда у них тут елки до неба.

– Именно поэтому, – неожиданно жестко говорит Оскар, и его голос испаривает сонный морозный воздух, – именно поэтому у нас тут еще есть елки.

– Значит, будет одной меньше, – отзывается Ваня, и глаза у него на мгновение становятся трезвые и презрительные. – Что ж вы за

народ-то такой? Трясетесь над своими елочками, перрон с мылом моете. Отойди, без тебя разберемся.

Оскар делает шаг вперед. Лора видит его профиль, сделавшийся неожиданно острым как бритва. Ваня выше его на голову.

– Молчи, русский, – говорит Оскар, задирая подбородок. – Ты здесь больше не дома. Ты у меня в гостях, вот и веди себя как гость.

– Так, – быстро говорит Вадик и становится между ними. – Хватит. Устроили международный конфликт. Вы еще подеритесь тут, ну ей-богу. А что? Давай, Ваня, скидывай свой малахай. Капитан советской армии Иван Драго в красных трусах.

Вадик встревожен. Он ненавидит драки. В детстве неосторожного Вадика часто лупили, взрослым он не дрался ни разу. Он вообще не уверен, что способен в драке победить, и еще Вадик боится боли. Он поворачивается к Ване небритым красноглазым лицом и растопыривает руки, заслоняя собой Оскара, и, поскольку Вадик нетвердо стоит на ногах, части Оскара – колючий глаз, клетчатое плечико – то исчезают, то появляются вновь, так что Ваня, с облегчением давший волю копившемуся весь день раздражению и неясной тоске, некоторое время всерьез размышляет о том, что можно прямо через Вадика выцелить и все-таки свалить гаденыша. В гостях, твою мать, думает Ваня, слушая жаркое, освободительное гудение крови в ушах. Как же. Три с половиной тысячи евро за день. В гостях.

Будь Лора старше на десять лет, она сделала бы что-нибудь бессмысленно-женское, запричитала или, напротив, презрительно засмеялась. Но Лоре всего двадцать шесть, и там, где она родилась, дракой никого не удивишь. Единственное, о чем думает Лора: до тех пор, пока ее муж занят ссорой с Оскаром, он не пьет.

Оскар стоит не прячась; о чем он думает – неизвестно. С Ваниной точки зрения, насчет Оскара сейчас существует всего одна определенность: он вот-вот получит в морду.

Вадик продолжает что-то говорить и качаться, загораживая обзор, но Ваня не слушает. Он нежно берет расхристанного, протестующего

Вадика за плечи и сдвигает его в сторону. С Вадиком можно все уладить и после.

Но Оскара вдруг снова кто-то загораживает. Фокусироваться Ване непросто, так что вначале он с удивлением разглядывает бледный зимний камуфляж и не способен связать его ни с одним человеком из тех, кто мог бы сейчас находиться на верхушке его, Ваниной, горы. Эта восточноевропейская гора высотой в две жалких тысячи метров над уровнем моря вся целиком, с елками, беседкой, метеными дорожками, с неприступным Отелем, чертовым старинным паркетом, дубовыми дверями и угольным подвалом, на семь ближайших дней принадлежит Ване. Он ее выкупил. Маскировочная раскраска (размытые бело-серые пятна) неожиданно заставляет Ваню вспомнить о партизанах. Разумеется, Ваня пьян. Однако дело не только в этом: в глубине души он всегда готов к тому, что посреди любого праздника с фейерверками и шампанским его, провинциального самозванца, найдут в толпе и выведут за ухо. Если копнуть поглубже, Ваня на самом деле немного чувствует себя оккупантом. Если твоё детство прошло в двухкомнатной хрущобе на окраине уральского города-миллионника, задыхающегося от наркотиков и промышленных испарений, вся последующая красота, достаток и гармония до конца дней будут казаться немного незаслуженными.

Ваня делает вдох и поднимает глаза. Над чужим партизанским воротником оказывается знакомое лицо.

– Ты ведешь себя как говно, – говорит Петя.

Смирный, молчаливый Петюня, засыпающий с блаженной улыбкой после двух стаканов. Бесконфликтный, покладистый. Мягкие Петюнины черты излучают сейчас две неожиданных эмоции – отвращение и стыд, – которые Ваня, разумеется, принимает на свой счет. Ваня не знает, что он ни при чем; отвращение Петюня испытывает к самому себе. В восемьдесят четвертом году после торжественной пионерской линейки в чешском городе Либерец, на которой он, Петюня, вместе с четырьмя своими ровесниками из

советского военного гарнизона, тремя мальчиками и одной девочкой, были почетными гостями, за которыми специально прислали машину, прямо во дворе аккуратной кирпичной школы чешские пионеры, симметрично помеченные красными галстуками, тщательно накормили снегом самого Петюню и трех его товарищей по несчастью. Пока Лена Коваленко (девочка, которую не тронули) беспомощно бегала вокруг и кричала: «Дураки, дураки, я все расскажу, расскажу про вас», – Петюня лежал на холодной земле лицом вниз, а на пояснице у него сидел рослый чешский пионер и держал его за волосы, намереваясь свободной рукой в очередной раз подгрести нечистого растоптанного снега и набить им беззащитный Петюнин рот. «Рус, рус!» – обидно кричали прочие пионеры, младшие братья, друзья и союзники. Петюня крепко закрыл глаза, чтобы острые снежные кристаллы не поцарапали роговицу, и мечтал о советской атомной бомбе. Отвращение и стыд, которые душат Петюню сегодня, спустя тридцать лет, вызваны тем, что, услышав отрывистое Оскарово «Молчи, русский», он вспоминает соленый вкус либерецкого снега во рту и с этой секунды сопротивляется острому желанию выбить Оскару передние зубы. Одновременно понимая, что, как обычно, даже на своей собственной земле Оскар щупл и одинок и потому, безусловно, прав. Оставшись один на один с Оскаром, некрупный Петюня поддался бы искушению. Но разрешить то же самое длиннорукому тяжелому Ване никак нельзя. Некрасиво. Неправильно.

Пока Петюня отрезвляет Ваню своим отвращением и стыдом, которые лично к Ване не имеют никакого отношения, позади возникает и Егор.

– Оскар, вы простите нас, пожалуйста, – говорит он и приобнимает окаменевшего, яростного Оскара за плечи. – Мы устали и надрались, ну нельзя столько пить натошак. Ваня – отличный мужик и ничего такого не имел в виду, конечно. Просто он становится чересчур, э-э-э... брутален, когда выпьет.

Егор тактичен и ничуть сейчас не фамильярен. Лицо у него встревоженное, голос расстроенный. Оттолкнуть руку, которую он протягивает, было бы не по-европейски. В конце концов, из четверых нетрезвых русских трое никакого конфликта не хотели.

– А давайте мировую, – предлагает Вадик с облегчением, и у Лоры падает сердце. Паузы не случилось. Они снова будут сейчас пить.

Гнев оседает медленно, как чайники на дно взбаламученной чашки. Впереди при этом семь дней вынужденного общения, и по крайней мере этот факт ни Оскар, ни Ваня изменить не способны. Оскар – человек здравомыслящий, а на Ваню неожиданно сильно подействовало Петюнино лицо; оба готовы сделать над собой усилие. Мировую действительно нужно выпить.

Рюмок по-прежнему пять, по количеству мужчин, – они ведь не рассчитывали на Лору. В эту минуту Лоре кажется, что на нее здесь не рассчитывал никто – ни внутри Отея, ни снаружи. Тянуть с примирением тем не менее неразумно, так что Егор просто выплескивает не допитый Лорой виски на снег (она отмечает и этот жест как дополнительное доказательство своей второстепенности) и наполняет рюмки заново. Оскар тоже видит, что ему придется пить из чужой посуды. Между прочим, он вообще не собирался с ними пить, а теперь каким-то непостижимым образом это стало единственной возможностью сохранить мир на его горе, если, конечно, Оскар так же считает гору своей. Что именно думает Оскар – по-прежнему загадка. Возможно, ему пришло в голову, что с этими русскими всегда так: как бы ни развивались события, рано или поздно все сводится к выпивке. Может быть, Оскар жалеет о том, что его гости на эту неделю – именно русские, а не, допустим, немцы. Или англичане. С другой стороны, и немцы, и англичане тоже изрядно пьют.

– Ладно, не сердись, – произносит Ваня с усилием и поднимает свою рюмку.

Он чувствует, что неправ, но фразу «Молчи, русский» забыть нелегко, и, чтобы как-то нейтрализовать это колющее воспоминание, он намеренно будет говорить Оскару «ты», это понимают они оба.

– Мир?

– Мир, – кивает Оскар.

Они пьют.

– Кстати, Оскар, – с любопытством спрашивает Егор, – откуда вы так хорошо знаете русский?

Егор – профессиональный собеседник. Адвокаты должны быть симпатичными, иначе у них не будет клиентов. Егора можно оставить в комнате, заполненной мерзавцами и занудами, и через час все они скажут, что он славный парень и свой в доску.

– Мы учили русский в школе, – звучит нейтральный ответ, и Петюня немедленно вспоминает «Рус, рус!» и вкус грязного либерецкого снега, и виски начинает горчить у него во рту.

– Я закончил в Москве педагогический институт, – признает Оскар спустя минуту. – Моя специальность – русский язык и литература.

– Девки, наверное, давали, – смеется Ваня, неожиданно теплея, – с таким-то акцентом.

– Это было давно, – неопределенно отвечает Оскар, но потом все-таки продолжает: – Ваши женщины действительно любят иностранцев.

Он маскирует вызов равнодушной интонацией, но ему тоже нужна компенсация за чужую рюмку, из которой пришлось пить, за Ванино барственное «ты», за унижительный недавний скандал.

Из-за угла Отеля раздается веселый снежный хруст и нежные голоса. Небыстро, со смехом, нагруженные вином, бокалами и салфетками, торжественно держа перед собой прямоугольную стеклянную емкость, на дне которой дремлет покорившаяся маринаду бледная свинина, приходят женщины; как раз вовремя для того, чтобы вернуть чуть было не ускользнувшую гармонию, придать смысл всему, что происходит под легкой крышей элегантной отельной беседки. Словом, сделать то, что оказалось не под силу

Лоре. И все разом чувствуют облегчение, включая Лору, которая может оставить наконец бесплодные попытки нести ответственность за то, как ведут себя опасные непредсказуемые взрослые. С этой самой секунды, даже если Ваня напьется насмерть, даже если он сегодня кого-нибудь убьет, Лора будет не виновата. Она нащупывает на столе рюмку (опять недопитую), которую они теперь делят с Оскаром, и опрокидывает ее. Поражение нужно уметь принимать с достоинством. В конце концов, она тоже умеет напиваться.

Никто еще этого не понял, но брошенную Лорой эстафету сегодня некому подхватить. Лизино золотое тепло, Танина деятельная злость, Машина сентиментальная нежность и даже Сониная деспотичная, необоримая харизма, вопреки обыкновению, направлены в разные стороны и не имеют своего обычного магического эффекта. Напрасно неискушенной Лоре все они, в который раз собравшиеся вместе, по-прежнему кажутся цельным, непроницаемым снаружи куском янтаря; сегодня это неправда. Нехорошая трещина уже появилась, взрезала и раскрошила двадцатилетнюю понятную и привычную связь, которая их объединяла. Что-то сдвинулось. Может быть, пока они плыли в стеклянной коробке поперек лилового зимнего неба, а может, и после, когда один из них, по крайней мере кто-то один, вдруг понял, что гора, отрезанная от остального мира сложной системой стальных канатов и лебедок, – необитаемый остров. И осознал свое безнаказанное одиночество, пусть краткосрочное, семидневное, но от этого не менее бесповоротное. Безнаказанное одиночество обязательно толкает нас к поступкам, на которые в других обстоятельствах невозможно решиться.

Спустя каких-нибудь четыре с половиной часа после того, как женщины, смеясь и болтая, добрались до беседки и принесли с собой недоступную мужчинам нежную, зыбкую радость бытия, и симметрию, и порядок, и смысл; самое большее через четыре с половиной часа угли уже остыли, мясо съедено, а виски выпит. Тьма выполнила свое обещание и обступила Отель, сжала его в черном

кулаке. В беседке темно, и окна больше не горят – ни на первом этаже, ни в спальнях. Забытый киловаттный фонарь над крыльцом в одиночку плохо справляется со своей задачей, ему не хватает сообщников; и неровный рыжий язык электрического света обнажает никому не нужный, испещренный следами треугольник снега перед входом, слепую стриженую изгородь из карликовых туй и раскатившиеся пластиковые лыжи.

Отель – тяжелый, значительный – лежит на боку, будто сонная рыба, поворачившись к небу своими спальнями. Если срезать крышу, в спальнях ячейках второго этажа, как в сотах внутри пчелиного улья, можно увидеть всех, кто проводит здесь ночь.

Ваня, грузный, бессильный и голый, спит на спине поверх одеяла. Голова его запрокинута, рот открыт. Он делает подряд четыре глубоких вдоха и выдоха, а на пятом его безвольный, парализованный алкоголем язык западает, соскальзывает в горло, и на следующие тридцать секунд Ваня превращается в неодушевленный, подготовленный к смерти кусок мяса – до тех пор, пока воздух не начинает бурлить, вырываясь из опадающих легких, и не выталкивает язык обратно. Лора жметя длинной худой спиной к жаркому Ваниному боку и подгибает колени, как щенок на сквозняке. Она не спит. Слушает ритмичную, раз в пять вдохов и выдохов, краткосрочную Ванину смерть и не знает, чего бы ей хотелось сильнее: чтобы он повернулся наконец на бок или чтобы перестал дышать совсем.

Через стену Лиза погружает пальцы в узкое перламутровое нутро контейнера с кремом и втирает его в белые сияющие плечи, в розовые локти. С постели Егор жадно наблюдает ее ленивые сонные движения и завидует мягкому полотенцу, которое она подстелила, прежде чем сесть на установленный перед зеркалом гнутый табурет. Когда Лиза наконец ложится рядом, прохладная, душистая и еще влажная от крема, он кладет руку ей на бедро. Бедро мгновенно оборачивается чужим, возмущенным камнем; кожа становится

ледяной и скользкой, как рыба чешуя. Он убирает руку и закрывает глаза.

Маша сидит по-турецки на широком подоконнике. Окно распахнуто, в комнату плавно затекает сладкий морозный воздух. Просторная двуспальная кровать не разобрана, на полу – пепельница, полная окурков. В Машиной руке – телефон; она расплатилась теплом своей спальни, отдала свою правую руку ночи. Именно сейчас Маше невыносимо, до слез хочется поговорить с мамой, но Оскар был прав. Сотового сигнала нет.

Петюня лежит ничком, занимая во сне не больше места, чем во время бодрствования, держит руки вдоль тела. Таня тянется и проверяет, дышит ли он, хорошо ли укрыт. Она только что открыла форточку – не умеет спать в духоте, – но Петюня легко простужается, и надо убедиться, что его не продует. Тане ясно, что быстро она не заснет. Она подтягивает одеяло повыше и открывает ноутбук. В правом углу пустого экрана укоризненно мигает курсор.

Голый Вадик – на дне элегантной душевой кабины: неглубокий белоснежный поддон, матовые раздвижные двери, два латунных крана с четырьмя лепестками (*Hot* и *Cold*). Он сидит, подставив макушку и плечи постепенно остывающей струе воды, и вспоминает Лорины длинные тонкие ноги, которые никогда будто бы даже и не распрямляются до конца. Прекрасная паучиха, думает Вадик, сжимая себя правой рукой, и немного стыдится этой своей мысли.

На первом этаже, в аскетичной смотрительской каморке, зажатой между парадными гостиной и кухней, на узкой кровати застыл Оскар, трезвый, бодрый, несонный. Он думает о том, что четверть часа назад увидел через широкие окна общей гостиной. Оскара сложно чем-нибудь испугать, но сейчас он сидит, плотно обхватив руками плечи, и ему на самом деле очень не по себе.

Сониная спальня пуста. Соня лежит на дне неглубокой скалистой террасы в двухстах метрах от Отеля, мертвая, с двумя дырками от лыжной палки: в левом легком и в низу живота.

Спустя еще полчаса начинается ледяной дождь. Холодный сухой воздух, пришедший с Запада, со стороны чопорного благовоспитанного Евросоюза, прямо над Ваниной горой, на высоте нескольких километров яростно сталкивается с мокрым и теплым ветром, принесенным с Востока. Влага не успевает охладиться до нужной температуры и выпадать в виде снега. Ошалевшие молекулы воды, минуя хрупкую снежную стадию, рушатся вниз на канатную дорогу и обволакивают толстой стеклянной коркой стальные канаты и могучие лебедки, приводящие их в движение. Запечатывают двери спящего у платформы вагона. Засахаривают окружившие Отель столетние ели и сосны. Вода, льющаяся с небес, замерзающая по пути, терпеливо превращает Сонино обращенное к небу лицо в посмертную маску, заклеивает отельные окна мутной холодной пленкой. И даже надежные ступеньки каменного крыльца покрывает жирным, как сало, слоем льда.

Глава шестая

Поздний зимний рассвет вползает на гору, осторожно растворяя сумерки, и накрывает Отель, пытаясь разглядеть за оконными стеклами его теплую начинку: там, внутри, пахнут лавандой белоснежные постели, дуются туго обтянутые телячьей кожей диваны, спят в кухонных шкафах фарфоровые шеренги тарелок и жмутся друг к другу воощенные паркетные доски. Все напрасно: окна потеряли прозрачность. Они заклеены льдом, будто ночью кто-то перевернул над Отелем гигантское ведро холодной воды, а затем открыл до нижнего предела невидимый термостат, и теперь тяжелый двухэтажный дом со сливочными фасадами и шоколадными балками, с каменным крыльцом, темной черепичной крышей и частоколом дымоходов тускло мерцает, словно проглоченный ледником, запертый внутри прозрачного ледяного желудка.

В этот утренний час девять человек, четыре женщины и пятеро мужчин, как конфеты в коробке, неподвижно лежат в своих постелях, побежденные сном. Безмятежные. Одинаково невинные, по крайней мере до тех пор, пока не проснутся; потому что, когда мы спим, на земле остается только наше опустевшее тело, которое само по себе невинно. Девять безгрешных, словно младенцы в колыбелях, не помнящих себя, бессмысленных тел и десятое, тоже покинутое – только уже навсегда, – снаружи, на черных замерзших камнях. Сломанное, продырявленное, застывшее, это тело спокойнее других. Ему не нужно дышать, толкать по венам густую кровь, чувствовать холод или жар, менять положение; у него осталась последняя задача – ждать, когда его найдут. Оно терпеливо.

А потом души спящих начинают свое возвращение, падают вниз сквозь туман, и влагу, и густые сизые облака, и стеклянные еловые ветки. Души ныряют под тяжелую блестящую крышу, недолго кружат

по тихим коридорам, ища свое место, и находят. Не сразу, одна за другой.

Лиза открывает глаза. Поднимает руку (рука плывет в полумраке спальни, белая, как ленивая птица) и убирает с лица прядь волос. Лиза видит деревянные потолочные балки, бледные цветы на обоях, посторонний тусклый свет, льющийся сквозь чужие окна, и на минуту чувствует острую тоску. Лиза хочет домой. Она давно разлюбила путешествовать; ей не нравятся постели, застеленные другими руками, и еда, приготовленная незнакомцами. Не надо нам было ехать, отчетливо понимает она, и вдыхает голубой лавандовый аромат, и морщит нос – ей не нравится запах. Там, дома, ее наволочки пахнут апельсиновой цедрой и цветами шиповника; дома все иначе. Она поворачивает голову (подушка крахмально шелестит под ее щекой) и смотрит на спящего Егора. Во сне он выглядит моложе. У него грустные брови домиком и жалобно приоткрытый рот, и, кажется, он заплачет сейчас, не просыпаясь, и вот-вот придется протягивать к нему руки, прижимать к груди его горячую голову и баюкать: тише, ну что ты, что ты, все хорошо. Лизе хочется прикоснуться к Егору, искусственный загар отражается от жемчужной подушки усталой беззащитной желтизной, но, проснувшись, он обязательно захочет любви и станет возиться, кисло дышать в висок, исцарапает и нарушит сухую цельность Лизиной кожи. А Лизе нужна не любовь. Ей нужен дом: привычный, знакомый, где все правильно и хорошо. Так, как должно быть.

Она опускает босые ноги на пол, вырывается из объятий колышущегося мягкого матраса и замирает на время, пока Егор со вздохом меняет позу. Встает и идет к зеркалу. Там ее ждет круглое розовое лицо – рыжие ресницы, крепкий подбородок. Расчесывая волосы, закалывая их в узел, она без улыбки смотрит себе в глаза и думает: омлет. Чудесный пышный омлет с шампиньонами и петрушкой. Редкое утро нельзя исправить хорошим омлетом. Пятью минутами позже, умытая, в джинсах и свитере поверх легкой хлопковой майки (сегодня в Отеле неожиданно прохладно), она

спускается по темной деревянной лестнице, из которой каждый крепкий шаг ее извлекает деликатный, уютный скрип.

В кухне Лизу ждут два сюрприза: затянутое мутной ледяной коркой высокое окно и хмурая тощая девочка, Ванина жена. Все-таки пропало утро, думает Лиза, которая встает рано не просто так, а потому, что любит одиночество и солнечные блики на столешнице из восточного окна, и пустые стулья, и сытый блеск мясистых листьев подаренного Машкой денежного дерева. В этой кухне нет ничего – ни солнца, ни капризного цветка, ни одиночества. Девочка уселась прямо на стол, сплела тонкие джинсовые ноги и отгородилась от двери, от Лизы, от всего двухэтажного Отеля горестной обиженной спиной. Лиза берет за ручку холодильника, и только тогда девочка поворачивает нечесаную голову и говорит с упреком:

– Света нет.

Холодильник встречает Лизу темным тающим нутром. В прозрачных нижних контейнерах сдержанно разлагаются овощи. Презрительно замерли яйца в дверце. Секунду она глядит, пристыженная, виноватая, а затем ныряет внутрь и набирает: молоко, десяток яиц, зелень, грибы и попавшийся под руку рыжий, без дырок сыр. К счастью, плита газовая. Неважно, есть электричество или нет, – омлет уже не предотвратить.

Лиза взбивает яйца с молоком, крошит шампиньоны и сыр. Девочка наблюдает за ней искоса и молчит, и это оглушительное молчание неожиданно мучает Лизу. Да, девчонка противная. Смешные неудобные одежды, недовольное личико. Она похожа на вокзального беспризорника, злого цыганенка с волчьими глазами, которого бессмысленно гладить и кормить – укусит руку. Но в Лизиной кухне все должны быть счастливы, и поэтому она, расставляя сковородки, все-таки улыбается и произносит:

– А давайте мы, Лариса, кофе сварим. Да? Кофе.

Девочка болезненно кривит лицо и отворачивается, и спина ее ощетиливается острыми позвонками. Безнадежно, с облегчением понимает Лиза.

Лора, думает Лора. Меня зовут Лора. Это ведь нетрудно запомнить: не Лариса. Лора.

Обесточенная кофеварка безжизненно мерцает хромом, и Лиза варит кофе по старинке, на плите. Устанавливая над пылающей конфоркой пузатую турку, она вдруг расплескивает воду и, глядя на свои дрожащие руки, чувствует неожиданный приступ паники. С этого мгновения она начинает спешить, словно надеется, что потеющие под прозрачными крышками толстые омлеты и густой кофейный дух защитят ее. Кухня послушно наполняется запахами; трепещет и опадает желтоватая кофейная пена, но спокойствие не возвращается. Девочка зябко жмет колени к подбородку и глядит в слепое, как бычий пузырь, окно. Лиза не может унять дрожь в руках.

Где-то за стеной лязгает массивная входная дверь, и обе женщины вздрагивают и смотрят друг на друга. Не заперли, со страхом вспоминает Лора. Мы одни, все спят, думает Лиза, никто не услышит. Ни одной из них не приходит в голову, что гора – это остров, необитаемый и отрезанный от внешнего мира. Что любая опасность, которая могла бы грозить им сейчас, должна находиться внутри, в доме. Они слушают тяжелые шаги в коридоре и скрип паркетных досок; они не шевелятся и не предпринимают ничего, и только глядят друг другу в глаза, и в эту секунду ощущают близость, которая раньше между ними не возникала. А потом на пороге кухни появляется Оскар, замерзший, с алыми морозными пятнами на щеках и бледным носом. Детское пальтишко забыто, теперь на нем толстая клетчатая куртка с белым овчинным воротником, благодаря которой он делается будто шире в плечах и немного напоминает канадского лесоруба. Небольшого канадского лесоруба.

– Оскар, – с облегчением выдыхает Лиза. – Света нет, вы знаете? Холодильник не работает.

Оскар кивает серьезно, без улыбки.

– Да, – говорит он. – Ночью был ледяной дождь. Провода обледенели. Скорее всего, где-то обрыв, к нам на гору ведет всего одна линия электропередач.

И, поскольку женщины молчат, добавляет:

– Приношу свои извинения. Это большая редкость – ледяной дождь. Форс-мажор. Пожалуйста, не беспокойтесь. Неудобства будут, но мы не замерзнем. Вилла отапливается углем, я только что подбросил в котел. Достаточно делать это утром и вечером, и будет тепло. У нас есть свечи и фонарики, а запасов еды нам хватит на неделю.

– На неделю? – хрипло спрашивает Лора. – Раз нет света, зачем нам сидеть тут неделю?

Лиза оборачивается к девочке.

– Электричество, – терпеливо говорит она в темные тревожные глаза. – Без электричества мы не сможем спуститься с горы, да, Оскар?

Оскар кивает.

– Все это ненадолго. Сильных морозов у нас не бывает, лед растает быстро, и линию немедленно восстановят. Я думаю, нам придется пробыть без света от силы несколько дней.

Омлеты уверенно шипят на сковородах, пузырясь и вспучиваясь, как желтая лава. Кофе благоухает, сжатый между медными стенками турки. Маленький человек в клетчатой куртке лесоруба стоит смиренно, глядит себе под ноги и произносит одно спокойное слово за другим, но Лиза внимательно рассматривает его и понимает вдруг, что в этом неподвижном лице спокойствия нет. Что он ни разу не поднял глаза. Лизины безмятежные, наивные времена давно позади. Она умеет различать, когда ей врут.

Прежде чем Лиза успевает придумать способ, как заставить Оскара взглянуть на нее (тогда она, пожалуй, поймет, какой вопрос ему нужно задать), лестница снова мягко скрипит, пропуская с верхнего яруса на нижний кого-то еще, вынырнувшего из бесчувственной невинности сна. По шагам невозможно определить, кто идет, и три человека, находящиеся в кухне, оборачиваются и смотрят в дверной проем. Лиза хотела бы сейчас увидеть Машу, но богемная Машка редко встает раньше двенадцати.

Лора ждет Ваню. Утренний Ваня другой: бледный, больной и спокойный. Управляемый.

Оскар у безразлично, кто появится в дверях. Он знает только, что это будет не Соня.

– Кофе! – слабо восклицает Вадик с порога.

Этим утром он выглядит еще хуже, чем накануне. У него мятое лицо и тяжелые, опухшие веки. Кроме того, у Вадика дрожат руки; как все алкоголики, до полудня Вадик не человек.

– Омлет, – стонет Вадик, втягивая носом воздух, и, осторожно переставляя ноги, словно они стеклянные, аккуратно усаживается к столешнице.

Видно, что ему до смерти хочется прислониться лбом к прохладной керамической плитке, но при всех это сделать было бы неловко.

– Лиза, золото... – начинает он мужественно.

Не дожидаясь продолжения, она поворачивается к холодильнику и вынимает покрытую легкой испариной зеленую бутылку пива. Отпаивать похмельного Вадика кофе бессмысленно; это знают они оба, и обсуждать давно уже нечего.

– Лиза, золото, – повторяет он с другой теперь интонацией, сворачивает пробку и пьет из горлышка, вздрагивая и шумно дыша носом.

– А вот теперь – кофе, – говорит Лиза и ставит на стол чашки.

Словно услышав ее, на втором этаже в полутемной спальне Егор открывает глаза. Как и его жена час назад, он недолго разглядывает незнакомые стены и потолок и чувствует примерно то же: острое желание оказаться дома. Ему не нужно поворачиваться для того, чтобы определить, что Лизы нет рядом; постель пуста, и под весом его одинокого тела чересчур мягкий матрас превратился в шуршащий крахмалом белоснежный кокон. На мгновение Егору кажется даже, что постель продолжает неслышно прогибаться под ним, и он проснулся именно потому, что почувствовал, как его осторожно затягивает в лавандовую свежесть, края которой вот-вот

сомкнутся над его головой, как зыбучий песок. Он резко садится, стряхивая одновременно этот мимолетный морок и остатки сна. Лизы нет. Егор помнит сумрачные зимние утра, рыжую реку волос поперек подушек, горькие ночные губы и белый жар, и как она любит, чтобы ей закрывали рот рукой, потому что не хочет будить детей. И как потом смеется ему в плечо. Он только не может вдруг сообразить, когда все это было в последний раз, и неожиданно чувствует себя старым и больным. От сибаритского матраса у Егора ноет спина, во рту несвежий вчерашний привкус. Побриться и постоять под горячим душем, думает он, и решительно встает с кровати, и идет в ванную, с каждым шагом безуспешно пытаюсь вернуть ощущение безопасности и благополучия; и понимает, что утро погибло, еще до того, как щелкает выключателем.

Он стоит в темноте напротив тусклого зеркала, в котором отражается его ослепший, голый, яростный силуэт, и говорит: черт, черт, черт. Утро Егора состоит из ритуалов, и первыми в списке стоят обжигающий душ и бритье. Вернувшись к выключателю, он нажимает безжизненную клавишу раз, другой, третий. Ему приходит в голову: случись такое где-нибудь в Альпах, достаточно было бы накинуть халат и позвонить портье. Любое вторжение постороннего человека в твою спальню, где уже смята и использована постель, унизительно и невыносимо, но в гостиничных номерах с этим так или иначе приходится мириться всякий раз, когда в дверь стучится горничная с комплектом свежих полотенец. Или электрик с набором инструментов. Зато потом он мог бы открыть наконец горячую воду, зажмуриться и стоять под ней десять минут, раскаляясь, очищаясь, смывая с кожи тревожную ночь. Что бы там вчера ни говорили Ваня с Вадиком, этот их хваленый Отель – всего-навсего старомодный неуклюжий дом, в котором нет ни портье, ни телефона на ночном столике. Кто знает, есть ли у них запасные лампочки. Он приглаживает волосы, еще раз пытается разглядеть свое невыбритое вчерашнее лицо в мерцающей зеркальной мгле и возвращается в спальню. Бриться перед туалетным столиком, за которым Лиза

накануне втирала крем в сияющие плечи, неудобно и глупо. Егор натягивает джинсы и вытаскивает из чемодана синий кашемировый пуловер, безотчетно повторяя выбор одежды, сделанный часом раньше его женой, как если бы то, что они проводят теперь свои утра поодиночке, можно было опровергнуть свитерами одинакового цвета. Прежде чем покинуть спальню, он проверяет свой телефон и с раздражением обнаруживает на экране надпись *No service*; о том, что на горе не работает мобильная связь, Егора никто не предупреждал, и сейчас ему кажется, что вернуть сотовый сигнал так же реально, как починить свет в ванной. Достаточно просто найти Оскара, полагает Егор. Сегодня до полудня ему нужно сделать несколько важных звонков и отправить два мейла.

Возле лестницы он сталкивается с Таней. Непричесанная, с отеками сонным лицом, закутанная в бесформенный шерстяной платок, в полумраке коридора она вдруг напоминает Егору неопрятную чужую старуху, мать-волчицу из фильма про Красную шапочку.

– Ты что это, Танька, – говорит он, и отчетливо слышит испуг в своем голосе, и хмурится, стыдясь этого испуга.

– У вас свет есть? – спрашивает Таня. – В нашей спальне все розетки сдохли, ноутбук разрядился. Чертова гора. И холод еще собачий...

– Нет. Нет света. Черт знает что такое, – хрипло отвечает Егор, и они спускаются по лестнице, охваченные желанием призвать Оскара к ответу за сырое неприятное утро, за тоску и тревогу.

А кухня освещена Лизой, согрета желтыми омлетами и кофе. От самых дверей становится ясно, что здесь единственное место в доме, где отключение электричества не имеет над ними власти. Дымятся чашки. Стопка чистых тарелок смиренно ждет на краю столешницы. Вадик приветственно машет вилкой и произносит с набитым ртом:

– Слышали новость? Обвал! Лавина! Кораблекрушение. Еды осталось на семь дней. Налетай.

– Трепло ты, Вадик, – говорит Таня. – У меня ноутбук разрядился.

Егор смотрит на Лизу, которая дирижирует завтраком. Она поднимает на него глаза и молча, через стол переливает ему свое беспокойство.

– Объясните им, Оскар, – говорит она мягко и спешит вернуться к своим тарелкам.

Пока они рассаживаются, подставляют чашки для кофе и допрашивают Оскара, Лора встает, надеясь, что теперь-то никто не обратит на нее внимания (она права, им действительно не до нее), и выходит из кухни. Стараясь не скрипеть деревянными ступенями, она поднимается по лестнице, пересекает безмолвный пасмурный коридор и возвращается в спальню, где на кровати тяжело, словно камень, лежит Ваня. Она устраивается рядом поверх одеяла, приподнимается на локте и заглядывает ему в лицо, и старается думать как можно громче: Ваня, Ванечка, проснись, ну проснись, пожалуйста.

Еще через час в кранах и туалетных бачках заканчивается вода. В этом нет ничего удивительного, объясняет Оскар. На чердаке установлен пятисотлитровый накопительный бак, и воду туда подает электрический насос, который мертв уже несколько часов. Но это не страшно, говорит Оскар. В отеле есть дизельный генератор; если каждый вечер включать его ненадолго, топлива хватит, чтобы наполнить бак и зарядить аккумуляторы в фонарях (и компьютеры, добавляет Таня; да, и компьютеры, соглашается Оскар). Разумеется, придется обходиться без бойлеров и горячего душа, но воду, в конце концов, можно греть на плите. Оскар произносит все, что требуется, но не очень усердствует. Увиденное прошлой ночью из окна гостиной позволяет ему предположить, что у его гостей очень скоро возникнут проблемы посерьезнее отсутствия горячей воды.

Они еще не хватились Сони. Покончив с завтраком, все бесцельно бродят по дому, разбредаются по обесточенным спальням и возвращаются назад, словно вместе с электричеством из спален исчезло что-то еще, что-то важное, превратив уютные комнаты со

свежими постелями в пустые деревянные коробки, непригодные для жизни. Они выходят на остекленевшее, опасно скользкое крыльцо и, держась за плачущие под ладонями перила, с удивлением оглядывают гигантскую ледяную декорацию, в центре которой оказались: неподвижные хрустальные деревья, сахарную живую изгородь, вмерзшие в площадку перед крыльцом пластиковые лыжи, похожие на просыпавшиеся из коробки разноцветные леденцы. В опустевшей кухне Лиза какое-то время сортирует продукты: это нужно съесть в первую очередь, это можно завернуть и хранить снаружи, на холоде; но пассивная растерянность рано или поздно побеждает и ее, заставляя бросить все на середине и отправиться искать остальных. В конце концов, им нужно собраться вместе и поговорить. Обсудить положение, в которое они попали. Продумать план действий.

Неудивительно, что рано или поздно все собираются в гостиной, где тихий Петюня как раз заканчивает разводить огонь в камине, воспользовавшись упаковкой блеклой магазинной древесины. Вадик после недолгих раздумий откупоривает бутылку портвейна; природные катаклизмы не означают, что отпуск следует проводить безрадостно. Маша, поднявшаяся после полудня (на этот счет Лиза была права), приходит, сжимая в руке онемевший мобильник. Узнав о ледяном дожде, обездвижившем канатную дорогу, она бледнеет и вцепляется пальцами в подбородок, и говорит: мама, о господи, мама сойдет с ума, если я ей сегодня не позвоню, – морщит лицо и вдруг плачет, и они хлопчут вокруг, перебивая друг друга, и повторяют недавние Оскаровы обещания: всего несколько дней, Машка, ну перестань, Машка, – не из жалости к требовательной Машинной маме (которая им не нравится), а потому что им тошно от Машинных слез. Свершившееся накануне зло, еще не обнаруженное, тем не менее густо разлито в воздухе и попадает к ним в легкие с каждым вдохом.

И когда появляется Ваня, воскресший наконец от Лориных оглушительных мыслей, они говорят: ну ты представляешь? И снова

рассказывают «все обледенело, света нет, спуститься нельзя, вода кончилась, холодильник умер» вовсе не для того, чтобы он решил проблему – проблема сейчас неразрешима, – а просто затем, чтобы он разгневался. Они отравлены многочасовой смутной тревогой, у них уже ни на что не хватает сил, а Ваня гневлив и несдержан. Им хочется, чтобы он раскричался и освободил их. Пока они говорят, Оскар сидит, прижавшись к диванному подлокотнику, как и накануне вечером, – прямой, безмолвный – и смотрит. И слушает. Оскар ждет, когда они сообразят наконец, что собрались в гостиной не все.

– Так, – говорит Ваня. – Пошли, прогуляемся до канатной дороги, пока светло. Посмотрим, что там и как.

Удивительно, что эта мысль никому еще не пришла в голову. Выйти наружу. Увидеть своими глазами. Что, если канатная дорога в порядке? Вдруг ледяным дождем отрезало не гору целиком, а один только Отель, и они потеряли напрасно целое утро? Они поднимаются, оживленные, взбудораженные, и спешат за куртками и ботинками (Оскар идет за ними), и уже в прихожей, в толкотне и суматохе, кто-то говорит вдруг:

– Ребята, а Соня-то. Надо Соню разбудить, она проснется – а в доме нет никого!..

И тут становится очень тихо. Это неприятная, необъяснимая пауза, в течение которой они смотрят друг на друга и не произносят больше ни единого слова, а потом все разом, полуодетые, в зимних ботинках, бегут по лестнице вверх. В коридоре второго этажа происходит небольшая заминка, пока они пытаются определить, которая из спален Сонины, потому что для этого требуется вспомнить, где их собственные комнаты; но и здесь они умудряются обойтись почти без слов, не отвлекаясь на них. Нет, здесь мы, а это наша, не сюда; и вот они распахивают нужную дверь и застывают на пороге, заглядывая друг другу через плечо, и Оскар стоит за их спинами, напряженный и внимательный, и жалеет, что не видит их лиц.

В Сониной спальне такое же тусклое слепое окно, залепленное снаружи ледяной коркой. На кровати покоится распахнутый чемодан с вывороченным, взбаламученным нутром. Покрывало смято, но не сдвинуто. Очевидно – и они даже не чувствуют удивления, словно с самого начала знали и только забыли на какое-то время, – этой ночью здесь никто не спал.

Глава седьмая

Снаружи Отель похож на игрушечный домик в хрустальном шаре. На корабль в бутылке. На большой леденец. Вдвоятером они стоят на застывшей и скользкой, как поверхность катка, площадке перед крыльцом. Они переглядываются. Смотрят вверх, в белесое небо. До сумерек еще далеко, время есть. За двумя поворотами стеклянной тропинки, в нескольких сотнях шагов от них лежит Соня – на спине, повернув к низкому небу накрытое снегом лицо. Звать ее бесполезно, но об этом знают только двое из девяти; остальные могли бы разбежаться по стеклянным тропинкам и кричать, но, оказавшись на улице, первые несколько минут они не делают ничего и просто толпятся возле одетого льдом крыльца, разглядывая замерзший водопад ступеней и хрустальные трубы перил, и чувствуют себя попавшими на морское дно или в соляную пещеру.

– Ну что же, – наконец говорит Оскар. – Канатная дорога – там, – и показывает рукой, выбирая один из шести одинаковых просветов между черными елями, и тогда остальные, глядя поверх Оскарова хрупкого плеча, неожиданно догадываются, что без этой подсказки ни за что не узнали бы дорогу, по которой почти километр волокли вчера свои чемоданы, потому что обратный путь всегда, во всех без исключения случаях выглядит иначе.

Это ставит крест на первоначальной идее – разделить и искать Соню. У чистенькой европейской горы, несмотря на аккуратные просеки и симметричные тропинки, все равно хватит сил для того, чтобы заставить их здесь заблудиться.

Так что, когда Оскар выбирает тропинку, ведущую к канатной дороге, они все идут за ним. Гуськом, молча, как утята, переходящие шоссе за своей матерью. Он шагает уверенно и быстро, и, чтобы не отстать, они послушно семенят за ним след в след, глядя только себе под ноги, мучительно повинаясь заданному им темпу, и потому не замечают подо льдом тусклое, как замороженная брусника, пятно

крови в пяти шагах от крыльца, среди разбросанных пестрых лыж. Двадцать минут подряд они идут молча, оскальзываясь, с трудом удерживая равновесие, выдыхая густые облачка пара. Они сосредоточены, как люди, опаздывающие на поезд. Как дети, спешащие к первому уроку, угнетенные необходимостью попасть куда-то вовремя. Не замечающие хрустальной черно-белой красоты.

У самой платформы их встречают скомканные, изуродованные льдом Лорины сапоги, свернутые, как два кошачьих тельца. Лора могла бы сократить время, в течение которого все стоят над неузнаваемыми комками кожи, пытаясь угадать их природу, но вместо этого втягивает голову в плечи и молчит. Причина, по которой она бросила здесь на погибель эти два шедевра итальянского кожевенного промысла, сегодня непонятна ей самой. В конце концов Ваня тяжело садится на корточки и осторожно трогает хрусткую кожаную изнанку.

– Погодите, – говорит он удивленно. – Это же... – и оглядывается на Лору.

– У меня каблуки застряли, – быстро, виновато говорит она.

Станным образом этого аргумента оказывается достаточно, и никто не задает Лоре ни единого вопроса. Похоже, они действительно считают ее взбалмошной идиоткой, поступки которой не стоят любопытства. А может быть, дело в канатной дороге, которая – вот она, в десяти шагах, прямо у них над головой.

Вагон напоминает лежащий на боку прямоугольный айсберг, гигантский кубик льда из автомата для коктейлей. Мутный слой замерзшей воды непроницаем; даже пояись каким-нибудь чудом ток в тяжело провисших проводах, автоматические двери все равно бы открыть не удалось. Чтобы добраться до дверей, лед пришлось бы разбивать обухом топора. К счастью, в этом нет необходимости. Во-первых, топор они с собой не взяли. Во-вторых, им нечего делать внутри вагона. Мощные стальные тросы, дюжие лебедки, толстый силовой кабель – все арестовано, обездвижено и мертво. На всякий случай Оскар вскрывает железный ящик, установленный в дальнем

конце скользкой, как мокрый кусок мыла, бетонной платформы, и недолго возится там с рубильниками и рычагами, но даже со стороны очевидно, что его усилия напрасны. Электричества нет, вагон примерз к платформе, канаты остекленели. Гору покинуть нельзя.

Они готовы к такому повороту событий и потому не впадают в отчаяние. Оскар прав: беспокоиться не о чем. В Отеле тепло, еды достаточно для десятерых. Если задуматься, это даже романтично – застрять на вершине безлюдной горы без связи, без обязательств, с минимальными сложностями вроде разрядившихся ноутбуков и отсутствия горячей воды. В сущности, впереди все та же наполненная негой и покоем неделя, и можно было бы хоть сейчас, сию минуту вернуться назад, в Отель, подбросить в камин мумифицированных европейских дров, согреть на плите кастрюлю глинтвейна. Только вот Соня... Все-таки странно, что ее так долго нет.

– Ладно, – говорит Ваня. – Ладно. Пошли, найдем Соньку и вернемся домой, холодно же.

Он бледен и плохо выглядит. Ему хочется пива и горячего жирного супа; он встал слишком поздно и остался без завтрака. Он знает, что все происходящее – его проблема; не только потому, что это он привез их сюда. Просто так уж устроена эта компания. Именно он, Ваня, в ответе за то, чтобы к концу любого праздника количество таксомоторов совпало с количеством гостей. Чтобы ресторанный счет оказался оплачен, а официанты – не обижены. Чтобы подвыпивший Вадик не получил в морду. Когда-то Ване казалось, что будет достаточно одних только денег, но с тех пор прошло много времени; теперь ему ясно, что все сложнее. Помимо денег от Вани требуется старание. Ответственность. Забота. За двадцать лет в Ваниной жизни изменилось очень многое, но он по-прежнему зависит от одобрения и благодарности этой маленькой группы людей, собравшихся сейчас вокруг него на замороженной платформе. Он складывает ладони рупором и кричит в стеклянную тишину:

– Соня! СО-О-О-НЯЯ!

Если взглянуть на гору с высоты птичьего полета – да что там, если просто немного приподняться, взлететь невысоко, не выше замерзших хвойных верхушек, – Соню найти нетрудно, несмотря на вчерашний ледяной дождь, скользкие тропинки и отсутствие ориентиров. На ней алый лыжный комбинезон, яркий, как рябиновая ягода на снегу. Сверху сетка одинаковых, как близнецы, засахаренных дорожек выглядит не сложнее пластмассового лабиринта, в котором катается послушный воле игрока железный шарик. Место, где лежит Соня, отмечено в лабиринте размытой красной точкой. Шарик – девять замерзших людей, мечтающих о тлеющем в гостиной камине и горячем вине. Хаотично, безо всякой логики их носит по белоснежным, пересекающим гору траекториям, и верхний наблюдатель с раздражением отметил бы, что два раза они просто проходят мимо крошечного отворота, на конце которого Соня ждет их.

Когда они делают попытку миновать это место в третий раз, Оскару приходится вмешаться. Казалось бы, гора не так уж велика, но воздух начинает густеть, приближаются сумерки, и без его помощи эти люди способны блуждать здесь до следующего утра.

– Сюда мы еще не заглядывали, – предлагает он осторожно и встает вполоборота, чтобы его спутники увидели тропинку.

Судя по всему, Оскар не собирается идти первым. Он замедляет шаг и позволяет всем обогнать его.

Недлинная боковая дорожка заканчивается аккуратным металлическим парапетом, отделяющим прогулочную зону от опасного каменистого склона. Бледные, как арбузная мякоть, замерзшие пятна крови под ногами ведут их к парапету так же уверенно, как это сделали бы меловые стрелки на асфальте, если бы сейчас, скажем, шла игра в казаков-разбойников.

Лора обжигает ладони стальными перилами, наклоняется вперед и вытягивает шею, и смотрит вниз. Она не боится мертвецов. Там, где она родилась, люди нередко не доживают до преклонных лет,

она видела достаточно похорон. С другой стороны, Лорины мертвецы – смиренные, умытые, расчесанные на пробор и завернутые в лучшие свои костюмы – послушно лежали в обитых тканью гробах. Как бы они ни вели себя при жизни, в смерти все как один выглядели прилично и кротко. Неопасно. До того как показать их Лоре, им пристойно опустили веки и сложили руки, а лбы накрыли лентой с крупными красными буквами. «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас», – требовала могущественная лента, прижимая мертвые головы к ситцевой изнанке гроба, не позволяя им никаких вольностей.

В замерзшем Сонином лице нет покоя. Оно вызывающе неприлично. Сонино лицо глядит на Лору стеклянными шарами глаз с несимметрично примерзшими веками. Лоре будет трудно забыть вывернутую Сонину нижнюю губу и розовый сталактит слюны, застывший в уголке рта. Синие пальцы, разбросанные руки и левую ногу, согнутую в колене – так, словно Соня собирается с силами, чтобы повернуть сведенную морозом шею, оторвать от камня волосы, поседевшие от инея и хрустящие, как оберточная бумага, и подняться Лоре навстречу. Словно это вот-вот произойдет. Смерть, которую видит Лора на дне каменного кармана, как сырая фотография, – необработанная, натуральная, без фильтров. В ней еще нет смирения. Лора хотела бы отвести взгляд, но не может этого сделать; даже мертвая, Соня умеет приковывать внимание. Лора пытается вдохнуть. Поднимает руки к лицу. Я хочу домой, думает Лора, я просто хочу домой, я вообще не хотела ехать.

Оскар подходит ближе и встает сбоку, у самого края парапета, бросает вниз мимолетный взгляд и тут же разворачивается обратно, к живым, и на мгновение становится похож на конференсье. На ведущего боксерского поединка. Кажется, он вот-вот изогнется, выбросит вперед правую руку и крикнет торжественно: «*Ladies and gentlemen!*» К счастью, он не делает этого и просто становится спиной к яме, единственный зритель, для которого восемь человек исполнят сейчас свои партии.

И они исполняют: например, Лора, которая наконец плачет, некрасиво кривит рот и трет кулаками глаза, размазывая остатки вчерашней туши по своим цыганским щекам. Например, Лиза, которая на месте надутой девицы с вечно поджатыми губами видит ребенка, обычного испуганного ребенка, и с облегчением протягивает руки, повинувшись спасительному инстинкту: схватить, прижать и утешить, потому что это оказывается гораздо проще, чем задыхаться от ужаса над неподвижным стеклянным телом. Чем плакать самой.

Например, Ваня. Который хмурится, и заглядывает в Сонины приоткрытые глаза, и говорит: что за хрень. Что за, мать его, хрень. Что за хрень – и стучит кулаком по холодной железной трубе с видом человека, который вот-вот предъявит претензии, потому что уговор был другой. В перечне оплаченных Ваней услуг не было пункта «мертвая актриса с двумя дырками от лыжной палки и сломанной лодыжкой». Нарушение контракта, вот что написано на Ванином лице. Вы что себе, бляди, думаете, вот-вот скажет Ваня.

Егор шарит во внутреннем кармане и вытаскивает телефон. Он ничего не может с собой поделывать, это инстинкт. Профессиональная деформация. Записная книжка Егорова телефона содержит номера на любой случай. Срочный вызов нотариуса на дом. Завтрамной в Склифе. Единая справочная служба эвакуаторов. Ветеринарная неотложка (Лиза любит животных). Сотового сигнала нет, но закольцованный список вариантов, из которых следует выбрать подходящий, с уютными щелчками проходит под его указательным пальцем два полных круга. Телефон доверия МВД. Приемная прокурора города Москвы. Мэрия. Даже если бы телефон работал, нужного номера все равно не найти; этот список вообще не годится для европейской горы. Складывается впечатление, что Егор неприятно удивлен.

В этот момент Оскар напоминает охранника супермаркета перед восемью мониторами, каждый из которых показывает кражу. Любая секунда, потраченная на изучение одного из восьми, играет на руку

семи остальным. Для того чтобы ничего не упустить, потребовалось бы еще семь наблюдателей или одна видеокамера. Возможно, он планировал застать их врасплох, но вынужден определить очередность, с которой заглядывает в их лица, в то время как они пользуются своим преимуществом и реагируют одновременно.

У Вадика фора почти в минуту. Когда до него доходит очередь, он уже стоит спиной к парапету, и в руках у него плоская коньячная бутылка, полная на две трети (что означает: треть он успел выпить раньше). Вадик поднимает ее к губам, зажмуривается и с усилием, трудно глотает. Уровень жидкости в перевернутой бутылке иссякает, словно это песочные часы-экспресс, где время исчисляется секундами. Ржавые струйки стекают по небритому подбородку. На лице у Вадика облегчение, из которого не следует никаких выводов; нет адекватного способа оценить приоритеты алкоголика, если ты сам не таков.

Маша сидит, разбросав ноги (прошло полторы минуты), и лепит снежок. Между Машиных коленей – десять следов от ее пальцев, десять подтаявших дорожек, симметрично сходящихся к центру, словно крылья вылупившейся из-под снега бабочки. Она сжимает кулаки. Сминает рыхлый снежный комок. Талая вода сочится между длинными Машиными пальцами неохотно, по капле. Лица ее не видно, она низко нагнула голову, словно ее сейчас стошнит. Или она готовится кого-нибудь боднуть.

Спустя неполных две минуты после того, как они нашли тело, юная Лора все еще плачет, прижимая лицо к мягкому Лизиному плечу, но уже не так громко. Лиза очень бледна, и держит девочку крепко, обеими руками, и легонько покачивается из стороны в сторону.

– Вадик, – говорит Таня хрипло, перекрывая затихающие Лорины всхлипы. – Что у тебя там, коньяк? Дай сюда.

Спустя неполных две минуты у Вадика нет уже, разумеется, никакого коньяка. В конце концов, бутылка была совсем небольшая, призванная всего лишь немного скрасить прогулку. Надолго ли хватит двухсот пятидесяти граммов коньяка человеку, который

только что обнаружил мертвое тело? Особенно если это не чужое тело. Если это очень, черт возьми, хорошо знакомое тело.

Вадик вытирает мокрый подбородок и сконфуженно прячет пустой стеклянный огрызок в карман. И не говорит ничего. В конце концов, Таня знает его много лет. Она должна понимать.

Таня понимает. Она вытаскивает смятую сигаретную пачку; будет очень логично, если и пачка окажется пустой, как Вадикова бутылка. В конце концов, думает Таня, писателю нужны чистые, неразбавленные впечатления. Без костылей вроде никотина или алкоголя. Ты сейчас подойдешь к парапету, говорит себе Таня, и посмотришь на нее еще раз. И запомнишь всё. Позу, в которой она лежит. Выражение ее лица. Это надо делать сразу, без анестезии, уловить и зафиксировать самые свежие, самые острые ощущения. Подобрать подходящую метафору к заиндевевшим, смерзшимся волосам. Бумажные? Хрустящие, как сухая солома? Перевести страх в слова, сфотографировать вкус, запах, собственные мысли. Ассоциации. Такое случается раз в жизни. Это уникальный опыт. Неповторимый.

Она делает шаг к уложенной набок железной трубе, отделяющей площадку от обрыва. Господи, думает Таня. Господи. Неужели нет другого способа? Оказывается, у нее дрожат руки; сигаретная пачка испуганно жметя к ладони, и становится слышно, как между тонких картонных стенок катается последняя сигарета. Таня рвет пачку пополам и засовывает сигарету в рот. До парапета остается еще несколько шагов. Правдивость избитых определений, какими принято описывать покойников, она успела проверить раньше; мало кому из сорокалетних выпадает везение избежать этого зрелища. Заглядывая в искаженное смертью знакомое лицо, невозможно не вспомнить фразы «заострившиеся черты» и «восковая бледность». Неважно, спокоен ты или кричишь от боли: короткая удивленная мысль – так вот они о чем – все равно успевают мелькнуть.

Если Таня хочет когда-нибудь написать о том, как выглядит насильственная смерть. Если надеется найти правильные слова,

чтобы передать ощущения человека, который с этой смертью столкнулся. Для того чтобы не придумывать, а *знать*, ей придется сейчас подойти и взглянуть еще раз. Убедиться, замерзли ли глазные яблоки. Что происходит после смерти со зрачками. Как выглядят ресницы. Почувствовать, систематизировать и запомнить свое сдавленное страхом горло, облупившуюся с железных перил зеленую краску. Сонины волосы, которые оказываются похожи вовсе не на бумагу, а скорее на траву, да, на мертвую траву, обесцвеченную первыми заморозками. Сделать слепок этого момента – целиком. И сохранить его в памяти.

Не хочу, думает Таня, и делает еще один шаг. Ну пожалуйста. Я не хочу. Стирая слезы тыльной стороной ладони и негромко, побежденно скуля, она наклоняет голову и заставляет себя смотреть. И укладывает увиденное рядом с шорохом легкого кошачьего тела внутри обувной коробки, в которой его несут во двор, чтобы закопать в палисаднике. Рядом со сладким запахом волос пятилетней девочки, Лизиной младшей дочери, и ощущением горячей тяжести в руках, на которых она заснула. И десятком других. Хороши ее тексты или плохи – разве кто-нибудь может знать наверняка? Она все равно подает их с кусками собственной печени. Со своими слезами, и счастьем, и страхом, и стыдом. Ей пришлось ободрать до голых чистых костей свое детство, препарировать все выпавшие ей радости и разочарования. Даже это не дает никаких гарантий; их вообще не бывает, гарантий. Просто это единственный известный ей способ оживлять буквы: не врать. Не фантазировать. Если хочешь сделать так, чтобы тебе поверили, выбора нет. Свою историю придется рассказывать без трусов.

Оборачиваясь на шум у себя за спиной, она видит Оскара, который лежит на снегу с онемевшей, расквашенной щекой, и Петюню, своего кроткого мужа, сидящего у Оскара на груди. Сука, говорит Петюня, упираясь коленями в Оскаровы ребра. Это ты. Это же ты. Гад. Гад! Петюнино лицо (видит Таня) кривится и дергается. Он заносит кулак еще раз, но не бьет. Опрокинутый на спину, словно

черепаша, Оскар не сводит глаз с этого зависшего в воздухе некрупного кулака.

– Я бы очень просил вас, – произносит Оскар осторожно. Вероятно, когда твои легкие расплющены чужими коленями, говорить неудобно.

– Я очень просил бы вас взять себя в руки. Вам потом будет неловко.

Надо отдать ему должное, думает Таня, он ведет себя очень грамотно, этот странный заморыш. Учитывая, что он заперт на горе с восемью незнакомцами, которые будут только счастливы обвинить в Сониной смерти именно его, чужака. Без связи, без поддержки цивилизованной европейской полиции. Если не удастся быстро разобраться в том, что тут случилось, думает Таня, мы сейчас начнем вести себя как дикари. Станем играть в Повелителя мух. И бог знает, сколько это продлится, а ведь ему нужно просто продержаться. Интересно, как он планирует выкручиваться.

– Ты! – повторяет Петя. Судорожно сжатый кулак подвешен в полуметре от Оскарова поверженного лица, но Таня видит, что еще раз он ударить не сможет. Петюня щупл и миролюбив и, вполне возможно, впервые в жизни сбил кого-то с ног ударом кулака, а это кому угодно вскружило бы голову. Но бить лежащего – все-таки совсем другое дело.

Когда он разжимает ладонь, с усилием, словно она принадлежит кому-то другому, и мучительно трет переносицу, становится ясно, что маленькому зрителю Отеля больше ничего не угрожает. Петюня освобождает Оскара и недолго, мгновение-другое, стоит на коленях, не поднимая головы, а прямо под его пальцами – теперь они все это замечают – снег оказывается пористый, мутно-розовый, так что ему приходится отдернуть руки, словно под ними кипятилок, словно он в самом деле их ошпарил. Петюня пятится, не поднимаясь, как мексиканский паломник, перепутавший направление, в котором следует ползти. Мимо Лизы, обнимающей зареванную Ванину жену. Мимо пьяного от ужаса Вадика. Натыкается спиной на

металлические перила, и ныряет под них, и быстро рушится вниз, неловко, некрасиво сползает животом по каменистому склону, обламывая торчащие осколки льда, с хрустом и грохотом.

Таня щелкает зажигалкой и делает огромный жадный вдох, заполняя легкие едкой горечью горящего фильтра. Последняя сигарета погибла напрасно. Позади начинается какая-то суета; прошло уже почти три минуты, и всякой немой сцене рано или поздно приходит конец. Ей ни к чему оборачиваться. Она разглядывает исцарапанную ладонь своего мужа, дрожащую на Сониных заиндевевших волосах. Смотрит, как он плачет.

– Соня, – всхлипывает Петюня, склонившись так низко, что губы его почти касаются застывшего Сониного лица. – Сонечка.

Таня смотрит теперь только на него. И запоминает.

Оскар встает и тщательно, двумя руками счищает снег со своей клетчатой куртки, затем нагибается и отряхивает колени. Хлопает одетыми в перчатки ладошками.

– Я принесу веревки, – говорит он. – Нужно поднять тело.

Глава восьмая

Поднятое Сонино тело оказывается похоже на манекен из магазина спорттоваров. На неудачную гипсовую скульптуру из ЦПКиО. На девушку без весла. Непобедимый *rigor mortis*, усиленный ночным морозом, не позволил вернуть на место раскинутые в стороны руки и помешал выпрямить согнутое колено, так что семьсот метров до Отеля им приходится нести ее как растопыренную твердую куклу. Как деревянное распятие. Чертов Оскар, вернувшийся с веревками, не догадался захватить ни пледа, ни одеял, и, оскальзываясь на хрустящих кромках дорожки, слишком узкой для четверых идущих парами мужчин, они все время видят тени облаков и черных веток, скользящих по стеклянной поверхности ее заледеневших щек. Повернуть ее лицом вниз они все-таки не решились; этому телу достаточно выпало унижений. Хмурый гаденыш обиженно топает впереди и не оборачивается. Кажется, он вот-вот ускорит шаг. Перейдет на бег. Оторвется от них и исчезнет за поворотом, в беззвучной белизне. Сгинет. И, добравшись до Отеля, они обнаружат только наглухо запертую дверь, за которой не окажется никого.

Возле крыльца (теперь им, конечно, бросились в глаза и разбросанные лыжи, и бурое пятно замерзшей крови) Оскар останавливается и говорит недружелюбно и сухо:

– В дом нельзя. Слишком тепло. Есть другое место.

И четверо, которые несли тело, разом чувствуют себя непрошеными гостями, просителями, получившими отказ. Сконфуженно и послушно пятятся, не протестуя. Тащат дальше, в обход, по тропинке, вдоль сливочных стен, перечеркнутых шоколадными балками, мимо обсаженной туями беседки с примерзшими к столу остатками пикника, мечтая только об одном: освободить руки, избавиться. Положить, накрыть, не смотреть больше.

Оскар уже потянул вверх подъемные гаражные ворота – неширокие, выкрашенные в те же молочно-кондитерские цвета, – а за ними открылась прохладная пустота и блеснул у задней стены рогатый снегоход, и они заторопились, затолкались у входа, прицеливаясь, как бы побыстрее войти, предчувствуя избавление, – но воздух вокруг них неожиданно сгущается, и мутнеет, и наполняется снегом. Сумерки обрушиваются в одно мгновение, как это часто случается в горах. Казалось, еще минуту назад был день, прозрачный, черно-белый, и гора глядела им в затылок, провожая их от самого парапета, под которым нашли Соню, как вдруг разом настала ночь, и Отель угрюмо налился тьмой, и гаражный проем в его мрачном боку превратился в распахнутый черный рот. Где-то позади снова захныкала Лора – тихо, вполголоса. Оскар юркнул внутрь, под ворота, а затем появился снова, держа над головой большой аккумуляторный фонарь. Бледный ксеноновый луч освещает их испуганные лица. Волосы, куртки, плечи – все стремительно становится белым, как будто над головой у них перевернулось огромное корыто, до краев полное снега.

– Прошу вас, – нетерпеливо говорит Оскар и отворачивается, унося свой голубой луч света в бетонную пасть гаража.

Не желая оставаться снаружи, они идут следом.

Лежа на пыльном полу, Соня еще сильнее похожа на сломанную куклу, у которой кончился завод. Ее правая рука не касается пола. Перед тем как замереть, кукла собиралась оттолкнуться от земли, подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Кроме того, она припудрилась: щеки, лоб и открытые глаза густо засыпаны сухим снежным порошком.

– Господи, – говорит Лиза хрипло. – Надо ее чем-нибудь накрыть, ну нельзя же так.

К сожалению, под серебристым чехлом от снегохода (ничего другого в гараже не нашлось) Соня выглядит как спящий человек, случайно укрывшийся с головой. Ее согнутое колено заставляет

предположить, что она вот-вот проснется и сядет. Вероятно, у нее могут возникнуть вопросы.

– Ваня, – слышен захлебывающийся Лорин голос. – Ванечка, пожалуйста. Давайте уйдем отсюда. Ну пожалуйста.

Лорины зубы стучат – отчетливо, громко, – она делает вдох и задерживает воздух в легких. Ясно, что она вот-вот выкинет что-нибудь возмутительное. Например, завизжит. Рванется из Лизиных рук и попытается убежать, одна. И тогда ее тоже, конечно, придется искать.

За стеной взывает ветер, и ночь стреляет в них из-под задранной гаражной двери плотным сгустком снежных хлопьев, вертящихся в бледном свете Оскарова фонаря.

– Будь я проклят, – говорит Вадик и мучительно трет лицо. Он немного стыдится картинности этой своей фразы, но повторяет еще раз:

– Будь я проклят. Убейте меня, – говорит Вадик. – Только это же все чистый Карпендер. Полярная станция. Ванька, осталось выбрать, кто из нас будет Курт Рассел. Ночью она оттаает, из нее выползет тварь и сожрет нас к чертям. В общем, нам нужен огнемет.

Он негромко, сдавленно хихикает.

– Черт, – говорит он. – Черт, простите, ребята. Это все коньяк.

Ветер снаружи гудит и бьется, и тяжелый фонарь начинает дрожать у Оскара в руке. Вероятно, это не очень легко – все время держать его над головой.

– Насчет убейте меня – это я пошутил, – говорит Вадик, диковато улыбаясь. – Если что.

Он снова закрывает лицо ладонью, только в этот раз уже не отнимает ее.

– Вашу мать, – говорит он глухо сквозь растопыренные пальцы. – Вы же понимаете, да? Вы же видели. У нее кровь. Она же не сама. На этой долбаной горе, кроме нас, никого нет. Это мы. Кто-то из нас.

И Лора наконец визжит – с облегчением, сладко, в полную силу.

– Ну вот что, – говорит Ваня, когда они оказываются снаружи, а подъемная дверь, за которой они оставили Сонино тело, надежно прижата к земле.

Ване давно пора вернуть себе инициативу. Принять какое-нибудь решение. Ему не нравится, что полдня пришлось таскаться за Оскаром. Не нравится эта проклятая гора. Ледяной дождь. Гребаный неизвестно откуда взявшийся буран. Мертвая Соня под чехлом от снегохода. Рыдающая Лора. И конечно, ему очень сейчас не нравится Вадик.

– Значит, так, – говорит Ваня и понимает с раздражением, что слова его никому не слышны, потому что их мгновенно сносит ветром. Ему придется кричать, надсаживаясь, а может, даже тащить их за собой. Они и правда выглядят неважно: беспомощная, замерзшая кучка людей, жмущаяся под темным боком закупоренного льдом Отеля. Вход с другой стороны, помнит Ваня. Надо вернуться.

– Значит, так! – кричит он и хватается Вадика за плечо.

Вадик дергается, пытаясь вырваться, щурит слезящиеся пьяные глаза.

– Пошли! – кричит Ваня, и обходит их, и трясет, и тормозит. – Ну! Пошли!

Чернильное небо мутно и занавешено снежной бурей. Луны нет, от звезд ничего не осталось. Холодные воздушные реки со свистом и ревом носятся между деревьями, облизывая гору, закладывая уши, швыряя в лицо острые снежные пригоршни. Оскаров дурацкий фонарь жидко тлеет где-то позади, совершенно не там, где нужно. Просто обойти Отель, думает Ваня. К черту Оскара с его фонарем, можно ведь идти вдоль стены. Главное, чтобы никто не отстал. Ваня чувствует себя пастушьей собакой, которая должна сбересть стадо. Не факт ведь, что они услышали. Разбредутся сейчас, идиоты. Замерзнут. Ищи их потом. Он кружит, толкает их, дергает и машет руками до тех пор, пока не убеждается в том, что они поняли, чего он от них хочет. Они трогаются с места – послушно, цепочкой – и

бредут за ним вдоль стены. К черту Оскара. Сраная гора может плевать вьюгой, снегом и льдом, но ей придется покориться. Что бы она себе ни думала, он купил ее с потрохами, на неделю. Просто нужно довести всех до крыльца. В месте, где живая изгородь примыкает к дому, Ваня не сворачивает. Не делает попытки перешагнуть. Вот тебе, маленькая заносчивая мразь, думает он, и замороженные карликовые туи хрустят и мнутся под его ботинками. Если ты хотел сохранить ландшафтный дизайн, надо было бежать впереди с фонарем.

Каменное крыльцо застелено снегом так плотно, что ступеней не видно, как будто их нет вовсе. Четверть часа всего, яростно думает Ваня, мы провели в гараже максимум четверть часа, а эта дрянь умудрилась засыпать лестницу. Он топает, расшвыривая белый холодный пух, нащупывая под ним скользкие обледеневшие грани, – не хватало еще поскользнуться и упасть сейчас, когда ему нужно показывать дорогу. Когда все идут за ним. Он оглядывается и пересчитывает их глазами. Два, четыре, шесть, восемь. Все на месте. Последняя, верхняя ступенька нарочно выворачивается из-под ноги, словно испугнутая скользкая рыба. Чтобы не рухнуть вниз, он хватается за перила и виснет на них, сдирая кожу с пальцев. И не падает. Остается только протянуть руку и дернуть дверь на себя.

Дверь оказывается заперта. Позади, у Вани за спиной, остальные карабкаются на крыльцо – один за другим, окоченевшие, гомонящие, – и ему приходится отпустить ручку и отойти в сторону, чтобы все они поместились рядом. На самом деле им всем нужно потесниться, потому что последним, небыстро, осторожно ступая, по утопанной лестнице поднимается Оскар. Они ждут, пока он роется в карманах, перекладывая потускневший фонарь из одной руки в другую. Достает тяжелую связку ключей. Возится с замком и открывает для них Отель. Внутри тепло, и темно, и тихо. Теперь им можно войти.

Ваня заходит последним, захлопывает тяжелую дверь и прижимается к ней изнутри, стыдясь совершенно детского

облегчения, которое при этом испытывает. Чувствуя острое желание задвинуть какие-нибудь засовы. Подсунуть к двери комод. А все Вадик со своим больным воображением. Что, спрашивается, он вообще там нес в гараже? Лорка теперь будет рыдать до утра.

Оскар ставит свой фонарь на пол забитой людьми прихожей, откуда никто еще не сделал ни шагу; света нет, не видно, куда идти. Прежде чем разбредаться по темному дому, хорошо бы вспомнить, в какую сторону кухня. Где гостиная. Освещенные снизу бледно-голубым светом, с мокрыми перекошенными лицами, они напоминают друг другу компанию спиритистов, у которых неожиданно получилось вызвать духа. Оскар шагает в черноту, недолго гремит и возится где-то неподалеку, возвращается.

– Возьмите, – говорит он и раздает свечи.

Щелкают зажигалки, прихожая наполняется рыжими огоньками.

Теперь они похожи на кучку крестьян, ворвавшихся ночью грабить барскую усадьбу. У них течет с ботинок. Лакированные паркетные доски возмущенно гнутся под девятью парами ног.

Оскар поднимает с пола фонарь и берется за дверную ручку.

– Куда? – говорит Ваня, прижимая дверь плечом. – А ну стой.

– Я должен включить генератор, – скучно говорит заморыш, задирая неприятное бледное личико. – Это в подвале. Вход снаружи.

– Стой, – повторяет Ваня. Он еще не понял, почему не хочет выпускать Оскара из дома одного, ему нужна пауза.

– Ты прав, Ванька. Нам нельзя разделяться, – диким голосом говорит Вадик и снова хихикает.

Сейчас он еще свечку засунет в нос и завоет, пьяный дурак. Запереть от него чертов коньяк.

– Нам нужно связаться с полицией. Включить водяные насосы. Зарядить фонари, – скрипит Оскар.

– Так, значит, есть связь? – растерянно спрашивает Егор и снова достает из кармана мобильный телефон. *No service*, глумится маленький экранчик. Батарея почти разряжена.

– В нашем Отеле, – сообщает Оскар голосом недовольного гида, – есть радиопередатчик. Для экстренной связи.

– Я схожу с ним, – вдруг говорит Петюня и делает шаг вперед. – Заодно посмотрю, как там включается эта штуковина.

Оскар без выражения глядит на Петю. По крайней мере в этот раз ему не приходится задирать голову. Пожимает плечами.

– Идемте, – говорит он.

Через минуту в прихожей никого нет. Они бродят по обиженно примолкшему Отелю как воры, хрустя деревянными половицами, капая воском; кто-то звенит бутылками в баре, хлопают двери на втором этаже, лязгает каминная заслонка. Момент, когда они снова встретятся в гостиной или в кухне, неизбежен. Им придется смотреть друг другу в глаза. Разговаривать. Строить догадки. Принимать решения. Но первый шок миновал; они устали, замерзли, они испуганы. В конце концов, им нужно выпить. Переодеться. Собраться с мыслями. Вадик наговорил много всякой ерунды, но в одном он прав: на проклятой горе действительно никого больше нет. Только они.

Где-то под полом чихает и взрывает мотор электрогенератора. Развешенные по стенам мутно-белые светильники вспыхивают, снова гаснут, а потом все-таки разгораются неохотно, неярко. Если присмотреться, видно, что льющийся из подвала ток поступает неравномерно, толчками, как густая кровь течет по венам большого старого дома, и чуткие спирали матовых ламп пульсируют и мерцают в такт сокращениям его дизельного сердца. С тем же неровным гудением принимаются за работу водяные насосы. Отель ожил на время, как проснувшийся кит, как умирающий пациент, которому вкололи адреналин, но эта жизнь ненадежна и непродолжительна. Ее хватит совсем ненадолго.

В коридоре Ваня сталкивается с Петюней. Тот уже без куртки, разут и держит в руках свои мокрые ботинки.

– А этот где? – спрашивает Ваня.

Петюня пожимает плечами и неопределенно машет рукой в другой конец коридора.

– К себе пошел, может? А, нет. Передатчик. Он же собирался полицию вызвать.

– И ты его отпустил одного? – Ваня багровеет, наливаясь кровью. – А ну пошли.

И бежит, тяжело топая по возмущенным паркетным доскам, как товарный поезд, как шагающий экскаватор, краснолицая Немезида, а маленький Петюня в белых шерстяных носках, старательно перепрыгивая оставшиеся на полу сырые снежные пятна, следует за ним.

Они находят Оскара в скромной смотрительской каморке – аскетичная узкая кровать, тщательно заправленная шотландским пледом, кресло, письменный стол, стеллаж со стопками журналов и неровно составленными книжками. Коллекция карликовых кактусов на подоконнике. Оскар стоит на пороге. Если он и собирался сообщить местной полиции какую-нибудь несправедливую пакость, он явно еще не успел этого сделать.

Попался, гаденыш, думает Ваня удовлетворенно, а вслух произносит, шумно дыша:

– Ну?

Оскар оборачивается. Лицо у него задумчивое.

– Вы случайно не обратили внимания, – произносит он вполголоса, – кто-нибудь сейчас заходил в эту комнату?

– В смысле? – спрашивает Ваня.

На самом деле Оскару даже не нужно отступать в сторону, крупному Ване все прекрасно видно поверх его головы.

Передатчик не из крутых. Жадные европейцы не стали сильно тратиться. На чисто прибранном Оскаровом письменном столе стоит обычная базовая станция, далеко не самая мощная. Небольшая черная коробка, две круглые ручки, россыпь кнопок, экранчик.

Прямоугольное пластиковое окошечко раскрошено. Тонкий металлический корпус изорван и смят. Вцепившись в решетчатую

крышку передатчика острым концом, поперек стола лежит похожая на компактную алебарду каминная кочерга. Растоптанная тангента, опутанная, как водорослями, вырванными с корнем проводами, валяется на полу под столом.

– Так, – говорит Ваня.

– Вероятно, какое-то время нам придется обойтись без полиции, – произносит Оскар.

Глава девятая

– Хорошо, – говорит Егор. – Предположим, мы не можем связаться с землей. Но, если мы не выйдем на связь, они же должны беспокоиться? Сколько должно пройти времени? Сутки? Двое? В какие часы у вас сеанс связи, утром или вечером?

Он успел переодеться в молочно-белый свитер с высоким горлом. Час назад, когда заработал генератор, Егор поднялся в спальню, зажег свет в ванной и открыл воду. Бойлеры, конечно, оказались отключены, из крана лился жидкий лед. Белая лампа над головой издевательски мерцала, как мерзкий подмигивающий глаз. Он увидел в зеркале свое перекошенное, растерянное отражение, разделся и, содрогаясь, вымылся прямо над раковиной, зачерпывая воду стынущими пальцами. Затем намылил щеки и подбородок и принялся скоблить лицо бритвенным станком, снимая вместе с пеной напряжение и страх. Лицо бреющегося мужчины всегда безмятежно, ровно так же, как и лицо женщины, которая красит ресницы. Человек, стоящий у зеркала с раскрытым ртом и вытянутыми щеками, – не тот же, кто поднимал на веревках мертвое женское тело и потом нес его семьсот метров, сжимая деревянное негнущееся предплечье. Не тот же. Конечно, нет. Человек, бреющийся перед зеркалом, – нормален. Благополучен. У того, кто, глядя себе в глаза, расслабляет нижнюю челюсть, надувает левую щеку или делает губы буквой «О», не может быть проблем серьезнее, скажем, налоговой претензии. Проигранного тендера. Бритье возвращает его в привычную систему координат. Побрившись, он насухо вытерся лавандовым полотенцем, а потом вернулся в спальню, вскрыл чемодан и вытащил самый белый, самый чистый, самый безгрешный свитер из всех.

– В какое время они ждут ваших сообщений? – спрашивает Егор, очищенный, успокоенный. Тяжесть прошедшего дня уже не так сильно давит ему на плечи.

– Все устроено несколько иначе, – отвечает Оскар вежливо. – У нас нет графика. Нет регулярных сеансов. Мы просто связываемся, когда что-нибудь нужно.

Оскар тоже выглядит абсолютно пристойно. Темные блестящие волосы расчесаны на пробор, маленькие руки чинно сложены на коленях.

В Отеле снова полумрак. Водяной бак наполнен, фонари заряжены, продукты спасены из умершего холодильника; нет смысла понапрасну тратить дизель для того лишь, чтобы освещать гостиную, в которой все собрались, а уж тем более – пустые коридоры, и лестницу, и замерзшую площадку снаружи, и незанятые спальни. Свет дают четыре толстых свечи, и дрова, тлеющие в камине, отбрасывают на стены дрожащие оранжевые тени.

Если смотреть только на Оскара и Егора, может сложиться впечатление, что ситуация не вырвалась из-под контроля. Разделенные журнальным столиком, они сидят в скрипящей диванной коже, словно два неподвижных бильярдных шара, и разговаривают вполголоса, спокойно, как люди, настроенные найти решение.

Все портит расхристанный потный Вадик во вчерашней мятой толстовке с принтом *Usual Suspects*. Он качается на подлокотнике Егорова дивана и держится за квадратный стакан виски обеими руками, словно это спасательный круг. На лице у Вадика смятение и хаос, он небрит, всклокочен и уже немного пахнет. С другой стороны, вдали от сволочных продюсеров и съемочной рутины, свободный от необходимости изображать взрослого человека, на второй день отпуска Вадик всегда начинает выглядеть примерно так. Если вовремя вспомнить об этом, можно даже предположить, что на самом деле Вадика сейчас хорошо.

– Допустим, – говорит Егор. – Допустим, регулярных сеансов нет. Но они ведь должны знать, что мы остались без электричества? Это ведь форс-мажор – ледяной дождь? Я уверен, что они уже

попытались связаться с нами и не дождались ответа. Разве это не повод отправить к нам спасателей?

– Вертолет, – заявляет Ваня, тяжело усаживаясь рядом с Егором, и упирается обветренными кулаками в тусклую полировку низкого столика. – У них должен быть вертолет. Даже в таких мелких горах, как ваши, без вертолетов никак.

Диван скрипит и проминается под Ваниным весом, и Егор, словно пузырек воздуха в водяном измерителе уровня, немного кренится в Ванину сторону. Непохоже, чтобы ему это понравилось. Он пытается вести диалог. Разобраться. Ему не нужны такие грузные аргументы. Кроме того, симметрия теперь окончательно нарушена: Оскар один, а на Егоровой стороне их уже трое.

Их могло бы стать и четверо, но Петюня сидит на корточках возле камина и ворошит тлеющие поленья. У каждого свои способы вернуться к норме. Кому-то необходимо побрить морду и надеть белый кашемир. Кто-то напьется сейчас как свинья. Кто-то снова начнет изображать начальника больших и малых галактик. Петюня не планирует оборачиваться и участвовать в разговоре. Ему сейчас плевать на вертолеты. Он думает о том, что, оказывается, куски дерева невозможно поджечь по одному. Для того чтобы разгореться, всякой деревяшке непременно нужна пара. Огонь рождается на стыке между двумя прижатыми друг к другу поленьями, в том месте, где они соприкасаются сухими прогретыми боками. Секрет в том, что это должно быть очень легкое прикосновение. Им нельзя прижиматься слишком сильно – это губительно для новорожденного пламени. Почему у меня нет камина, удивленно думает Петюня. Почему мне даже в голову никогда не приходило, как это важно – чтобы он был. Мне сорок лет, думает он. Очень возможно, я слишком поздно спохватился и уже не успею. Тихие Петюнины мысли превращаются в непроницаемую прозрачную стену, и голоса у него за спиной постепенно гаснут.

– Даже если бы нам угрожала опасность, – говорит Оскар. – Даже в этом случае. Ну подумайте сами. Там снежная буря. Очень плохая

видимость. Они не полетят. Им известно, что у нас запас угля на месяц. И более чем достаточно еды. Уверяю вас, после ледяного дождя там, внизу, сейчас хватает проблем и без нас. К тому же они ведь не знают...

Тут он умолкает и смотрит в стол. Когда он вот так наклоняет голову, видно, что его левая щека слегка раздута, но синяка нет. Петюня ударил его недостаточно сильно.

Тем не менее щека раздута, и это замечает не только внимательный Егор, но и Ваня. И неожиданно огорчается. Нехорошо получилось, думает он. Не надо было так. Представить себя на месте другого человека Ване, как правило, нелегко, это ненужный навык. Но сегодняшний страшный день обострил его чувства, и он вдруг примеряет на себя роль щуплого одиночки. Один против восьмерых, представляет Ваня. Ох мы ему, наверное, не нравимся. И неясно, чего от нас ожидать. И не деться же никуда.

Он ищет в закрытом Оскаровом лице следы страха и не находит.

– Скорее всего, раньше срока покинуть Отель нам не удастся, – монотонно говорит Оскар, глядя на свои сложенные руки. – Без особенных причин вертолет за нами не вышлют даже в случае, если погода наладится.

– Не вышлют – так не вышлют, – мирно отвечает Ваня, охваченный раскаянием. Петька, конечно, паршивец. Ну зачем он его стукнул?

Вадик издает горлом булькающий звук.

– Без особенных причин, – произносит он невнятно и смеется.

Вот теперь этот павиан напился окончательно, понимает Ваня. Ему известны все причудливые стадии опьянения, раз за разом терзающие утомленную Вадикову душу. Они похожи на круги ада, из которых не позволено избежать ни одного. Прежде чем упасть и заснуть, Вадик ненадолго становится агрессивен. Выступает с разоблачениями, расставляет точки над *i*. Нарывается на скандал и лезет в драку.

Вадик больше не смеется. С заметным усилием балансируя на подлокотнике дивана, он исподлобья изучает Оскара. Лицо у него нехорошее. Он поднимает руку с тяжелым стаканом, оттопыривает указательный палец и делает вдох.

– Ну ладно, – говорит Ваня, и встает, и приобнимает Вадика за плечо, чувствуя, как тот облегченно обмякает, найдя наконец точку опоры. Отвести его наверх и запереть, пока не проспится. Не хватало нам всем по очереди сегодня лупить Оскара. И не дойдет же сам, придется тащить на себе.

В этот самый момент неровный круг света, дрожащий вокруг толстых свечей, сминается, пропуская еще одного человека. Красивое Машино лицо заплакано, веки покраснели и опухли, ресницы слиплись от слез. Она кладет на стол большую сердитую ладонь и растопыривает пальцы, словно останавливая стол на скаку. Никто никуда не пойдет, говорит эта ладонь, и Ваня послушно замирает. Будь Вадик способен сейчас на сравнения, он непременно вспомнил бы о валькириях. Насвистел бы, например, Вагнера. Когда Машка вот так заводится, ее способен остановить только Вадик и, пожалуй, еще Лиза. Ване нечего и пытаться. Никакой Вагнер ему, разумеется, в голову не приходит. Во-первых, он слишком изумлен: оказалось, ненадолго он вообще забыл про девочек. Забыл, что все это время они тоже находятся здесь, в темноте, в недрах большой гостиной. Во-вторых, единственное сравнение, доступное Ване, таково: Маша напоминает ему товарный поезд, разгоняющийся с горы. Тонкая полированная столешница под ее ладонью скукоживается и трещит, из-под пальцев испуганно разбегаются годичные кольца.

– Что вы такое несете вообще, – говорит Маша, и голос, гневный и гулкий от слез, клоочет у нее в горле. – Вы послушайте себя. Какой на фиг вертолет. Да к черту его совсем. Кто-то зарезал Соню. Кто-то из нас. Зарезал и бросил в яму. Вам не интересно знать кто?

– Кто-о-о-о это сде-е-е-елал? – внезапно говорит Вадик, с усилием поднимая голову. Голова тяжело кренился набок, как у

младенца. Как будто у Вадика сломана шея. Он грозит пальцем в пустоту, как грозят собаке, наделавшей в прихожей.

– Ну зачем ты так, – произносит Егор, мучительно морщась. – Почему сразу «зарезал»? Я уверен, должно быть какое-то объяснение... Надо успокоиться и подумать. Осмотреть тело. К слову, мы совершенно напрасно принесли его... ее. Ничего нельзя было трогать. Полиция будет очень недовольна. Не знаю, о чем мы думали.

– Возможно, – резко говорит Таня откуда-то сзади, из-за белоснежной Егоровой спины, и он вздрагивает, словно тоже, как и Ваня, не ожидал, что за пределами тусклого свечного сияния есть жизнь.

– Возможно, – рычит Таня, – мы думали о том, что нельзя ее оставить вот так... валяться. Под снегом. Бог знает сколько дней. Как тебе такое объяснение?

Егор дергает щекой и молчит.

– Такой ты иногда сухарь, Егор, – говорит Таня и тоже подходит к столу. – Знаете что. Налейте мне тоже чего-нибудь. Не все же Вадьке накачиваться одному. Нам всем нужно выпить граммов хотя бы по сто. А потом поговорим.

Она смотрит в молчаливую Петюнину спину, скорчившуюся у распахнутой каминной створки. Петя не оборачивается.

В сумрачном дальнем углу теперь, когда все понемногу перемещаются к свету, остаются две молчащих женщины.

Лора следит за Лизой жадными глазами больного ребенка. Не может быть, конечно, не может быть ни единого приличного повода опуститься на пол возле Лизиных ног и положить ей голову на колени.

Лиза сидит с прямой спиной, очень спокойно, и смотрит на мужа, который бормочет как раз:

– Почему сухарь? Ну Танька. Все это ужасно. Конечно, все это ужасно. Видишь, я ведь тоже только сейчас сообразил. Просто

полиция... – и обнимает себя руками за плечи.

Лизины глаза блестят в темноте.

Лоре кажется, что теплая золотая женщина вот-вот поднимется с места и отправится утешать неприятного жлоба. Индюк, индюк, индюк, думает она с ревнивой ненавистью, как это вообще возможно, чтобы такая золотая, такая мягкая была замужем вот за этим. За таким.

«Какая-то ты бледная, Лорик», – вспоминает Лора и снова чувствует прикосновение гадких индюковых пальцев у себя на шее и острое желание склонить голову и вцепиться зубами. Лора с удивлением прислушивается к своей новой любви, родившейся вчерашним вечером в сливочной отельной кухне, среди медных мерцающих кастрюль, в тот самый момент, когда одна из чужих, несимпатичных ей женщин неожиданно поцеловала другую в плечо. Их короткое спокойное объятие распахнуло у Лоры внутри, где-то между легкими и желудком, сосущую, голодную пустоту, которая заполнилась сегодня возле обледеневшего парапета, на верхушке стеклянной горы, когда рыжая горячая Лиза обхватила ее руками и покачала, и зашептала: «Не бойся, не бойся, все будет хорошо, не бойся».

Только не уходи, жарко думает Лора, пожалуйста, не вставай. Останься здесь, со мной. Ваниного взгляда она не ищет. Ваня, как обычно, занят Вадиком. Если задуматься, Ваня всегда занят Вадиком.

Лиза поднимается и идет к свету. Стой, стой, мысленно кричит Лора ей вслед. Он недостойн объятий. Не смей обнимать его. Белые кашемировые плечи зябко ежатся, взыскуют утешения, но Лиза здесь не ради них.

– Малыш, – говорит Лиза мягко, вполголоса и кладет белую ладонь на Машин гневный затылок.

И Маша – большая, на голову выше, – вдруг рушится, складываясь, сжимаясь, втягивая голову в плечи, прижимается лицом и плачет громко, страшно, давясь и задыхаясь.

Лора сидит позади, в темноте, одна. Она жалеет, что это не пришло ей в голову первой – вот так сейчас заплакать. Кажется, теперь она будет готова делать это ежедневно.

Затем они пьют, по чуть-чуть. Все. Застывший возле огня Петюня. Горестная осиротевшая Лора. Даже Вадик, которому уж точно не стоило бы дальше пить. Даже Оскар. Именно он отправляется в бар и приносит оттуда квадратную коричневую бутылку виски и девять толстых стаканов на подносе. Разливает поровну. Сложно сказать, почему сегодня Оскар все-таки готов с ними выпить. Вряд ли после всего, что случилось за последние сутки, они кажутся ему симпатичнее, чем накануне. С другой стороны, можно предположить, что Оскар пьет не с ними. Что ему, ему лично просто нужно выпить, как и всем остальным. В конце концов, у него тоже случился невероятно тяжелый день.

Так или иначе, они пьют. Вдвядтером. Они не чокаются, но пьют молча, без слов. Мысль о том, что Соня лежит мертвая в гараже, накрытая чехлом от снегохода, странным образом не способствует соблюдению ритуалов. Если бы причиной Сониной смерти стала какая-нибудь трагическая случайность – например, автомобильная авария. Скоропостижный неожиданный рак. Случись с ней что угодно более понятное, определенное, им было бы проще чувствовать растерянность и горе, переживать потерю. Испытать нормальный человеческий страх смерти, нежданно ударившей совсем рядом, разминувшейся на шагок. Им было бы легче плакать о ней. В любом другом случае они в тот же день, где бы ни находились, собрались бы вместе. Слетелись искать утешения. И пили бы до утра. И плакали. И говорили, перебивая друг друга.

Сейчас же они знают, что их горе несимметрично. Неодинаково. Кто-то один, кто-то из них, угрюмо стоящих вокруг стола над мерцающими свечами, только прикидывается скорбящим. Кто-то так же, как они, хмурится и безмолвно глотает темную жидкость из тяжелых бокалов, но он неискренен. Кто-то лжет. Им кажется, что этот кто-то, один из них, был бы рад захохотать торжествующе и

пройтись по гостиной колесом и не делает этого только затем, чтобы не выдать себя. Для людей, которые вместе много лет, это слишком страшное допущение. Именно оно лишает их языка. Они пьют беззвучно, в абсолютной неловкой тишине, и мечтают как можно скорее разойтись по спальням. Расстаться. Побывать отдельно.

– Нам все равно придется это обсудить, – наконец говорит Таня и возвращает опустевший стакан на поднос.

Петюня тут же снова отворачивается к огню.

Вадик висит на подставленном Ваней плече. У него мокрые губы и закрытые глаза. Очевидно, он уже не слышит и не понимает слов. Ему все равно.

– Танька, – говорит Ваня. – Давай завтра. Ты права, конечно, права. Но давай завтра, а?

– Я ужасно устала, – говорит Лиза слабо. – Танечка. Нам сейчас надо просто поспать. Пожалуйста.

Маша шумно всхлипывает, не отнимая своего стакана от губ. Прикусывает стеклянный край. Каждый Машин выдох оставляет на поверхности прозрачных стенок влажный запотевший след. Виски ртутно, тяжело плещется внутри, смывая с поверхности стекла молекулы Машиного дыхания. Кажется, его вовсе не ubyло.

Остается Егор, который мельком поднимает глаза на Лору, как будто стреляет. Осторожно. И мгновенно отдергивает взгляд.

У Егора есть секрет. Он любит свою жену – в спальне, когда она сидит возле зеркала и выпутывает расческу из медных пружинящих прядей. Белая, золотая, жаркая. Он любит ее внутри их общего дома, где она царит под благосклонным светом родных ламп. Ее домашние платья струятся. Локти пахнут корицей и миндалем. Мягкие Лизины колени и бедра созданы для его любви. Для радости их детей.

Снаружи, за пределами спальни, гостиной и кухни, Лиза расплывается. Выцветает. Кажется ему неуверенной. Испуганной. Под безжалостным внешним светом у нее оказываются широкие щиколотки, и ногу она ставит тяжело, косо стаптывая уличные

каблуки. Лиза неэлегантна. Вырванная из дома, как моллюск из своей раковины, она корчится и нервничает. Без удовольствия ест, не слышит шуток. Не смеется. Отказывается от вина. Шепчет: поехали домой. Он терпеть не может ее такую. Она пугает его.

Егор отвергает старение. Он не стар. Трижды в неделю он по сорок минут топчет кардиотренажер. Качает мышцы живота, сцепив пальцы на затылке. Отбеливает зубы. В деле, которым занимается Егор, старость могут позволить себе только неповоротливые мясистые мастодонты. Бронтозавры, имена которых отлиты в бронзе. Свинцовыми красками отпечатаны на первой странице недлинной новейшей истории юриспруденции. Прославившиеся давно, в самом начале, не множеством выигранных дел, не тем даже, что были лучше других, а всего лишь потому, что оказались первыми. Наличием куража. Готовностью высунуть голову над окопом. Сегодня им больше не нужен ни кураж, ни профессионализм. Каждый из этих дорогостоящих, разжиревших за два десятилетия равнодушных реликтов – словно атомный ледокол среди слабых дизельных собратьев, способный раскалывать метровые льды одним своим именем.

Раздвинуть их ряды и сделаться одним из них невозможно: мастодонты – штучный товар, они больше не прибывают. Все прочие безымянные старики с перхотью на плечах и дрожащими голосами годятся только подбирать крошки с главного стола. Консультировать в интернете, принимать посетителей в крошечных кабинетах, арендованных в доме быта, с надписью «Юридическая консультация» на двери. Ждать пенсии в юротделах банков или безликих адвокатских конторах, обреченно выполняя указания своих более свежих, щелкающих зубами собратьев, тех, кто научился главному: смещать акценты от знания закона (ибо нет никакой возможности познать то, чего не существует) к умению договариваться. Согласовывать. Решать вопросы и грамотно заносить. Единственно возможная альтернатива обрюзгшему классику с потухшими глазами – энергичный, молодой,

обаятельный. Со связями, но уже без фамильярного, свойственного мастодонтам барства. Без разборчивости. Быстрый и голодный. И уже на контрасте: свежий, крепкий, активный. Словом, нестарый. В первый вагон Егор опоздал. Из последнего он по доброй воле не выпрыгнет.

В конечном счете Егор ведь делает все это для рыжей женщины, которая до сих пор – иногда – умеет делать его очень счастливым, хотя теперь нечасто этого хочет. Которая когда-то очень любила его. Которую нужно прятать от внешнего мира, потому что она в нем так незащищена. Вокруг Лизы, именно ради ее покоя пришлось выстроить целый дом. Возвести стены, обнести высоким забором и отдать ей в безраздельное владение, уступить не половину даже, а все царство целиком, короновать ее и отступить. В границах собственной благоустроенной вселенной Лиза ходит босая, печет хлеб с розмарином, крахмалит скатерти и способна вырабатывать счастье кубометрами. Щедро, не считаясь, на чью долю придется большой кусок. Относительно дома, который он покидает ранним утром и куда возвращается в темноте, у Егора нет иллюзий. Он-то всего лишь оплачивает счета. Но теплом и смыслом, струящимся золотом, ароматами, жизнью дом наполняет не он. Это делает Лиза. Это она определяет, что веранды нуждаются в шлифовке, и по голосу огня в камине понимает, что настало время чистить дымоход. Это она решает, когда следует менять простыни и чистить диванные обивки, регулирует температуру. Заполняет холодильник едой, а вазы – цветами. Поднимает и опускает шторы, зажигает свет. Это у Лизы с домом диалог, интимный разговор один на один, в который невозможно вмешаться. Если Лиза сердится или расстроена, Егора не принимает дом. Дом – Лизин союзник, он заодно с Лизой, и в такие дни Егору неловко братья за дверные ручки, страшно ставить ногу на ступеньки. Дети уклоняются от его объятий и не смотрят в глаза. Кошка прячется от него. Вода перестает течь ему в ладони, плюется и шипит в кранах. Кресла щерятся пружинами, кофе горчит на языке. Когда Лиза им недовольна, Егор чувствует себя гостем,

незванным, навязанным, и не находит себе места. Иногда ему кажется, что золотая женщина замужем не за ним, а за домом, который он для нее построил.

Именно по этой причине ему любопытно, каково это – быть с Лорой. Спать с Лорой, жить с ней. Не из сластолюбия. В этом конкретном случае похоть – не главное, да-да, дело не в самой Лоре, не в длинных ногах и узком лице, не в цыганских кудрях; мало ли на свете темных тяжелых кудрей, и бесконечных ног, и пальцев, к которым словно приделано по лишней фаланге. Дело даже не в Лориной молодости, которая (думает Егор) действует как прививка, эликсир, который достаточно лизнуть, всего лишь легко обмакнуть язык – и твой лоб разглаживается, а волосы чернеют. Даже молодостью можно пренебречь. Лорина очевидная, откровенная зависимость от Вани – вот что не дает Егору покоя. Непонятная, необъяснимая зависимость. То, как она провожает Ваню глазами, как паникует, стоит ему выйти из комнаты. Лориного срока среди них, замужем за Ваней, – всего три года, и поначалу казалось: Ванька, буржуй, выкопал где-то себе провинциалочку, моделечку, картиночку. Никто и не ждал от нее любви. По умолчанию они, наблюдая, отказали ей даже в наличии души. Разубедившись в этом, они перестали ее обсуждать, испытывая неудобство как люди, допустившие, хотя бы и тайно, про себя, несправедливость по отношению к кому-то третьему, и невзлюбили Лору именно потому, что оказались неправы. Только факт все равно остается фактом: из них из всех только у Вани есть женщина, которая нуждается в нем осязаемо и сильно. Настолько, что этому иногда неловко быть свидетелем. При том что женщина эта, со всей ее драгоценной зависимостью, обожанием, детским страхом остаться без его защиты, с цыганскими глазами и блестящими кудрями, совершенно Ване не нужна.

Ваня как объект болезненной, жадной любви. Это Ваня-то.

Дружба не предполагает ослепленности; напротив, ее суть, ее смысл – в том, что мы выбираем из огромного числа самых разных

людей – нескольких. Немногих. Очень часто – случайным образом, бессистемно. И затем начинаем любить и принимать их с открытыми глазами, без самообмана, просто в обмен на то, что и они знают нас и прощают наши слабости и несовершенства. Наши странности и грехи. Если не подвергать дружбу ненужным испытаниям, не требовать громких жертв, если не раскачивать лодку, не ждать слишком многого, не обострять и не придирается, если хвалить без ревности и не вмешиваться, пока нас об этом не просят; если повезет и не случится какой-нибудь катастрофы, можно годами вместе плыть в одном направлении, соприкасаясь плечами, дрейфуя, приближаясь, отдаляясь, но никогда не покидая друг друга надолго. Чувствуя нежность, и родство душ, и взаимную принадлежность, и бог знает что еще.

Пускай такая дружба во многом – иллюзия, понимает Егор. Но с любовью ведь то же самое. Разве иначе с любовью?

Словом, Ваня как объект болезненной любви – образ, в котором Егор не способен найти логику, и двадцать лет дружбы здесь – как раз аргумент «против», а не «за». Грубый гневливый барин. Щедрый до бестактности, склонный к хвастливым монологам, великодушный, но всегда обязательно требующий благодарности. Неделikatный, бесчувственный и несложный, как деревянные счеты. Обладающий всеми хрестоматийными признаками нувориша в такой полной мере, что иногда подмывает проверить, не прикидывается ли он. Что ему стоило выбрать себе горластую сварливую красотку с ямочками на заднице и кровавыми когтями, обмотать ее «Булгари» и соболями и поселить возле себя, не обращая на нее особенного внимания, сделать ей со временем нескольких детей, купить ее маме квартиру, летом отправлять их скопом на какой-нибудь остров в Иберийском море, или в Тоскану, или куда там сейчас модно сезонно ссылать жен? Зачем ему понадобилась эта мрачная невротичка, тощая старшеклассница со страшными сиротскими глазами, дворняжка, к которой все равно не прилипнут ни соболя, ни дорогие камни? Какая невероятная жена могла бы вырасти из нее, если бы не Ваня,

способный разбавить односолодовый виски кока-колой. Залить кетчупом ризотто с трюфелями. Что ему делать с ее любовью, с ней самой, когда он, очевидно, не понимает, не видит разницы?

За что, будь они оба трижды прокляты, за что она его так любит? Что нужно сделать, чтобы тебя так любили?

Егор подносит стакан к губам и пьет залпом, обжигая горло. С момента, как он поднял глаза на Лору и быстро отвел их, прошло не больше минуты. Лиза, уставшая и бледная, все еще обнимает заплаканную Машу за плечи. Ваня поддерживает подтаявшего, обмякшего Вадика, не дает ему свалиться со скользкого диванного подлокотника. Все не так, мучительно думает Егор. Все неправильно. Все ложь. Мы всего лишь кучка жалких разочарованных одиночек, обреченных желать невозможного и мириться с недостаточным.

– Ладно, – говорит он и не узнает собственный голос – настолько мало в нем осталось жизни. – Давайте спать. Ничего мы сегодня уже не сможем.

И, равнодушный ко всему, что они могли бы ему ответить, берет со стола свечу и медленно, как старик, бредет с ней к лестнице.

Лиза вздыхает и отпускает Машу.

У самой двери в гостиную, на грани света и тьмы, Егор оборачивается. Тень от свечи, которую он держит в правой руке, крошит и сминает его лицо.

– Только сразу договоримся, друзья, – произносит он. – Никого сегодня больше не убиваем, ладно?

Мгновение – и его нет, слышен только скрип деревянных ступеней и вскоре – шаги наверху, на втором этаже, в коридоре между спальнями.

– Я должен подбросить уголь в котел, – говорит Оскар в наступившей тишине. – Это нужно делать утром и вечером. Вилла очень большая, ее непросто протопить. Если кто-нибудь хочет пойти со мной, прошу вас, – и ждет, и смотрит в безучастный Петюнин затылок.

– Я пойду с вами, – говорит Таня и встает. – Всегда хотела научиться топить углем.

Таня смотрит на мужа. Обернись, думает она. Посмотри на меня.

– Да ладно, – говорит Маша глухим насморчным голосом, – ну перестаньте вы. Давайте в туалет друг друга провожать еще. Ночью у нас не будет алиби все равно. Ни у кого. А мы с Вадиком вообще спим поодиночке, и что? Все пропало, да?

– Маша, – сразу говорит Вадик бархатно, жарко, хотя и не поднимает при этом головы. Вадикова щека прижата к Ваниному ребру. Плечи бессильно опущены. Не может быть никаких сомнений в том, что Вадик спит. Или в глубоком обмороке.

– Ма-а-аша, – тем не менее нежно рокошет Вадик, как двигатель на низких оборотах, куда-то в пол, куда-то себе под ноги. – Друг мой. Я готов предоставить... Я – готов.

Она слабо улыбается и, нагнувшись, целует Вадикову свалывшуюся макушку. Вадик висит на Ванином боку как зомби, как выключенный игрушечный робот.

– Ванька, – говорит Маша. – Гринписа на тебя нет. Отведи ты его спать.

При слове «спать» Ваня неожиданно зевает до хруста, до слез.

Это был слишком долгий день. Слишком страшный. Нет никакого смысла длить его. Лучшее, что можно сейчас сделать, – подняться наверх. Задуть свечу. Укрыться одеялом, подтянуть колени к подбородку. Зажмуриться и забыть обо всем часов на восемь. Или на десять. Если ты застрял на верхушке незнакомой горы на неопределенное время без связи, без электричества, нет никакой разницы, сколько часов ты проспешь, восемь или десять. Мобильный все равно разряжен, так что рассчитывать на будильник бессмысленно. Просто лечь спать. Забыть о верхней границе сна. Засыпать без будильника – непривычно и тревожно, как нырять в омут, в котором не видно дна. Кто знает, как долго всемогущий распоясавшийся сон будет держать тебя. Рано или поздно, даст бог, тебя разбудит свет, льющийся сквозь замерзшие окна. И даже твой

измученный мозг, отравленный городом, нелюбимой работой и подъемами затемно, в конечном счете насытится отдыхом. Заскучает и поднимет тебе веки. Они расходятся по спальням с обреченным бесстрашием ныряльщиков, которые не уверены, что вынырнут завтра все.

Таня и Оскар одеваются в прихожей при свете аккумуляторного фонаря. Натягивают шапки, толстые перчатки, застегивают под горлом молнии зимних курток. Как астронавты, готовящиеся выйти в открытый космос. Через замочную скважину с тонким зловещим воем в Отель проникает холод. За дверью ревет и бьется, бросая в стены хрустящей крошкой, сухая снежная буря.

Он отпустил меня, думает Таня, просовывая ногу в белоснежный валенок. Дергая рукава своей куртки книзу, чтобы скрыть от мороза фрагмент запястья между манжетой и варежкой, чтобы спрятаться внутри искусственных, сложносоставных материалов, придуманных для того, чтобы защищать уязвимую человеческую кожу. Он даже не обернулся. Просто отпустил меня.

Спустя четыре минуты она стоит позади Оскара в котельной и смотрит, как тот зачерпывает неглубокой лопатой тяжелые, словно камни, неровные угольные куски и аккуратно забрасывает их в крошечную топку скучного отопительного котла. Раскаленный ослепительный уголь гудит за приоткрытой заслонкой. Настоящее честное тепло не может выглядеть красиво, думает Таня мстительно, имея в виду камин, возле которого Петюня провел сегодняшний вечер. Ох уж эти нарисованные очаги. Дырки в параллельную реальность. Муляжи, не дающие ни тепла, ни еды, тупо жрущие дрова. Гламурные символы единения с корнями. Если ты такой крестьянин – давай, построй себе печь. Вставай в пять утра, добудь щепу и сухую солому. Научись определять момент, когда засунутый в печь горшок не лопнет от жара, томи в ней каши и супы. Пеки в ней хлебы. И не вздумай фальшивить, забудь о газовой плите и напольных конвекторах. Грейся рядом, спи на ней, готовь внутри нее. А если это слишком тебе неудобно – что же. Тогда молчи. Не

смей делать вид, что ты припал к истокам. Признай, что ты всего лишь турист, дачник. Случайный прохожий. Да, ты действительно впустил в свой дом огонь, но не всерьез. Понарошку. Как приглашенного клоуна. Из интерьерных соображений. Ради развлечения гостей.

Все владельцы каминов в эту секунду в Таниных глазах – лицемеры.

Когда Оскар распрямляется и откладывает лопату, Таня говорит вот что:

– Давайте сходим туда. Пожалуйста. Мне нужно еще раз на нее посмотреть.

И они обходят Отель кругом, жмурясь от встречного ветра, который, судя по всему, твердо решил сбить их с ног и караулит за каждым углом, набрасываясь с новой силой, словно после каждого следующего поворота они становятся более уязвимы. Ветер швыряет им снег в лицо горстями и воет и визжит, как если бы всерьез собирался им помешать. Они недолго дрожат у подъемной гаражной двери – два астронавта во враждебном пространстве, – затем Оскар во второй раз за сегодняшний бесконечный день вскрывает подъемную дверь.

В гараже холодно, но Таня все равно готовится увидеть, что согнутая в колене Сониная нога под чехлом выпрямилась и обмякла, а руки упали на пол. Она даже шагает осторожно, чтобы не наступить в воду, которая наверняка, Таня почти уверена, в эту самую минуту понемногу растекается от тающего Сониного тела по бетонному полу. Мутная розоватая вода, какая бывает в металлических лотках в мясном отделе гастронома.

Оскар поднимает фонарь повыше, и становится ясно, что Таня ошиблась. Ничего не изменилось. Пол все такой же сухой и пыльный, очертания тела под металлизированной тканью напряженные и неживые. Таня подходит ближе, садится на корточки. Снимает перчатку. Почему-то ей трудно заставить себя протянуть руку и откинуть чехол, хотя она уже видела и лицо, и веки, и зрачки.

Там, под чехлом, не прячется ничего неожиданного. Она сидит на корточках, упиравшись руками в бетон, и дышит глубоко, носом, собираясь с духом, ожидая, пока уймется стук ее собственного сердца. Оскар безмолвно стоит над ней с фонарем, как маленький однорукий атлант, которому вместо балкона доверили держать лампу.

Сонино лицо оказывается покрыто крошечными каплями воды, словно испариной. Иней с ресниц и бровей исчез, волосы потеряли бумажную хрупкость и тускло, мокро осели, но в остальном это то же самое лицо, несколько часов назад смотревшее в небо со дна каменного кармана.

Ничего, даже при жизни ничего особенного не было в этом лице: два горячих пристальных глаза, подвижная верхняя губа. Узкое, треугольное, с острым подбородком. Хищная белка. Даже зубы слишком велики для ее маленького рта, два ровных ряда плоских белых резцов, как будто пересаженных из чужой, более крупной челюсти.

Поэтому она так не любила фотографироваться, ее магия не действовала на фотографиях. Ее вообще нельзя было удерживать, останавливать и рассматривать, ее можно было впитывать только в движении, пока она говорила и улыбалась. У нее был хриплый непристойный голос, от которого учащался пульс и падало сердце, и при этом она умела двигаться, как развращенный ребенок, невинный и испорченный одновременно. Ее улыбка включалась прожектором, который, послушный ее желанию, мог ослепить и опрокинуть или просто согреть. Захваченная врасплох, уставшая или сонная, она могла на мгновение показаться немолодой, грустной, обессиленной, но ей достаточно было почуять на себе взгляд и повернуться. И чужая воля плавилась мгновенно, как сыр в супе.

Таня смотрит и смотрит в обезоруженное смертью Сонино лицо, лишенное власти и волшебства. Скованные холодом мышцы, замершие на полпути веки, погасшие зрачки, криво застывшие губы. Ей хочется спрятать от унижения высушенную морозом роговицу

Сониных ореховых глаз, и она робко тянет ладонь, бесконечно долго, страшась прикосновения, и кончиками широко расставленных пальцев чувствует мягкий частокол ресниц и полиэтиленовую влажную кожу. Это усилие напрасно. Сонины веки отказываются опускаться, словно в момент смерти у нее в голове возник кукольный глазной механизм, запрещающий держать глаза закрытыми. Веки пружинно возвращаются в исходное положение. Танина испуганная рука, проделавшая такой непростой путь, не может вернуться ни с чем. Она стирает росу с ледяного лба. Скользит по скуле. Мокрая прядь волос отлипает от белой щеки, распадается надвое и обнажает верхушку маленького уха. Надо же, думает Таня, у нее были оттопыренные уши; господи, у нее еще и уши были оттопыренные, а я не замечала.

Она смеется – коротко, мучительно. И чувствует острый укол жалости и стыда, потому что это оттопыренное детское ухо не предназначено для ее взгляда, просто не способно теперь от него защититься. Секунда – и она уже стоит на коленях, с горячими от слез щеками. Жалость – всемогущее чувство. Непобедимое. Таня всхлипывает и гладит влажные, холодные Сонины волосы, и наклоняется, и тянется губами. Пожалеть, поцеловать. Попрощаться.

Оскар ничего не говорит, но фонарь его над Таниной головой прыгает и смещается, съезжает в сторону. В эпицентре теперь не лицо, а правое Сонино ухо. Мочка – разорванная, раздвоенная, с черной, спекшейся кровавой горошиной в месте, где должна быть сережка.

Таня отдергивает руки. Выпрямляется. Быстро смаргивает слезы.

Затем берется за молнию Сониного лыжного комбинезона.

– Отвернитесь, Оскар, – говорит она строго и тянет язычок застежки вниз.

Ей приходит в голову, что она не знает, надето ли на Соне белье. Не стоило бы показывать Оскару голые Сонины груди, ее мертвый живот, но раз он все равно уже здесь и к тому же держит фонарь, он мог бы просто не смотреть.

Оскар и не думает отворачиваться.

Снять комбинезон с застывшего твердого тела невозможно. Переодевая манекены, ловкие девушки в магазинах готового платья откручивают им негнущиеся руки, иначе их не раздеть. Ткань можно было бы разрезать, но этого Таня делать не собирается, и поэтому рана на спине остается недосыгаемой. Она тянет молнию вниз до упора, а затем распахивает красный комбинезон, чувствуя себя патологоанатомом, раскрывающим грудную клетку. Мажет пальцы левой руки подтаявшей Сониной кровью. Отклеивает липкий, еще морозно хрустящий свитер и задирает его.

Низ Сониного живота и ее правый бок покрыты темно-бурыми разводами, как тарелка, испачканная соусом барбекю. У Тани немного шумит в ушах, во рту легкий металлический привкус, но в остальном она, к своему удивлению, в порядке: не чувствует дурноты, не испытывает желания закрыть глаза. Если задуматься, ей было гораздо хуже сегодня днем, возле парапета.

– Любопытно, – произносит Оскар прямо у нее над ухом, и хотя говорит он вполголоса, в Танином спокойствии этот тихий голос пробивает непоправимую брешь. Она-таки вскрикивает и подавляет острое желание вскочить на ноги, отпрыгнуть от зловещего тихони. Свет фонаря сделался ярче – очевидно, тихоня наклонился и висит сейчас прямо над Таниным затылком. Она слышит его дыхание и улавливает негромкий аромат какой-то парфюмерии, то ли одеколона, то ли крема после бритья. Запах невинный и будничный, какие-то апельсины или яблоки, в аннотациях к таким обычно пишут «Свежие зеленые нотки и яркий цитрусовый аккорд подарят вам радость летнего утра». Или это просто детский шампунь.

– Взгляните сюда, – продолжает Оскар, как будто даже не заметивший ее краткосрочной паники. – Это не похоже на след от ножа.

Она возвращает взгляд к густым томатным потекам на бледном Сонином животе и ищет рану.

– Видите? – спрашивает Оскар. – Это не разрез. Это укол. Нож оставил бы другой след, у ножей плоское лезвие. Ее ударили не ножом.

– А чем? – спрашивает Таня хриплым, чужим голосом.

Фонарь удаляется, возвращаясь на прежнюю высоту.

– Это могло быть что угодно, – отвечает Оскар издали. – С трехгранным длинным острием. Какой-нибудь инструмент. Например, как это у вас называется? Отвертка. Стамеска. Или просто лыжная палка.

Он перечисляет варианты бесстрастно и задумчиво, не выделяя ни одного. Таня оборачивается и пристально смотрит ему в лицо.

– Вы очень наблюдательны, Оскар, – говорит она наконец.

Сейчас ей больше всего хочется вымыть руки. Выйти отсюда. Не дожидаясь водопровода, зачерпнуть пригоршню снега и стереть с пальцев память о прикосновении к набрякшему от крови Сониному свитеру. Просто подняться на ноги и уйти, предоставив Оскару самому наводить здесь порядок, запирают гаражную дверь. Есть предел количеству потрясений, которые способен вынести человек в течение одного дня. Таня только что достигла такого предела. Тем не менее она заставляет себя вернуть все на место: расправить свитер, соединить молнию и застегнуть разъятый комбинезон. Прежде чем накрыть тело серебристым чехлом, она даже поправляет влажную прядь оттаявших Сониных волос.

Ветер, гнавшийся за ними от самого крыльца, так и не сдался: он поджидает их снаружи. Выходя, им приходится перешагивать невысокую снежную насыпь, устроенную ветром у подъемной гаражной двери, словно он пытался запереть их внутри и, торопясь, приступил к работе, просто не успел ее закончить. Две неровных цепочки следов, оставленные ими по дороге в гараж, почти полностью замело.

Когда они трое – Оскар, Таня и фонарь – возвращаются в Отель, первый этаж пуст. На журнальном столике в гостиной – поднос со стаканами, недопитая бутылка, забитая окурками пепельница и

приставшие к полировке восковые слезы, парафиновые скульптуры самых причудливых форм и размеров, как будто часом раньше здесь случилась гадательная оргия. И ни одной свечи. Они ушли, они забрали все свечи, думает Таня. И не оставили мне ни одной. Эх, ребята, ребята.

Она берет стакан – ничей, нечистый, с катающейся по дну янтарной каплей – и наливает на три пальца виски. В конце концов, не бежать же в темноте в кухню, чтобы вымыть дурацкий кусок стекла. Конечно, ей не оставили свечу, но это не значит, что она не способна пить из стакана, принадлежавшего любому из них. Они все – свои.

– Хотите, Оскар? – спрашивает она и кивает на бутылку.

Поколебавшись совсем недолго, Оскар кивает.

Пока Таня в свечном полумраке выбирает стакан, из которого он согласился бы пить, Оскар направляется к распахнутой настезь створке камина и, присев на корточки, тщательно закрывает ее. Лицо его непроницаемо, поэтому Таня думает за него. Горожане. Курортники. Избалованные центральным отоплением, кондиционированием. Неиссякающим дешевым электричеством, бездонным водопроводом. Уверенные, что природа приручена и дружелюбна. Они оставляют открытый огонь в деревянном доме и уходят спать, не давая себе труда закрыть топку. Трутся у распахнутой входной двери, впуская мороз, топают, стряхивают снег, болтают, не замечая, что тепло – драгоценное, мучительно достигнутое тепло – утекает, просачивается, исчезает сквозь зияющий проем стремительно и страшно, как воздух через пробоину в обшивке самолета. Беспечно бросают незакрытыми форточки в спальнях: было душновато, а потом я забыл, да ладно, ну что такого? Бездумные дети, ни разу не встававшие затемно, чтобы не дать вымерзнуть хрупкой деревянной коробке. Не желающие верить в то, что тепло – не гарантия, а усилие.

Чертовы пользователи каминов, ядовито думает Таня, вспоминая Петину молчащую спину.

Прижав локти к заляпанному воском столику, при тусклом свете тлеющих в топке углей, они с Оскаром молча приканчивают виски. Наливают и пьют. Катают опустошенные стаканы по полировке, как по барной стойке, заставляя их сталкиваться с глухим стуком. Наполняют их снова.

Алкоголь набрасывается на них, как навязчивый заботливый друг. Суетится, согревает и утешает. Шепчет: всё в порядке, не страшно, все пройдет и канет, ты же знаешь.

Таня хотела бы сказать Оскару: вы же, наверное, ничего не поняли про нее. Да что там, мы же и сами про нее не все успели понять.

Вместо этого она говорит другое.

– Слушайте, Оскар, – начинает она и замолкает, дожидаясь, пока он поднимет на нее глаза. – Я знаю, что вы ни при чем. У вас не могло быть никакого повода. Это мы. Кто-то из нас.

Оскар глядит внимательно, молча. Его бледные щеки слегка порозовели от недавней схватки с ветром и, пожалуй, от виски тоже, но на лице нет сейчас никакого выражения. Никакого вообще. Как будто его нарисовали на бильярдном шаре. На курином яйце.

– Скажите, а вы точно ничего не заметили? – спрашивает Таня. – Ну, мало ли. Может, было что-нибудь необычное. Знаете, иногда бывает, со стороны бросается в глаза.

Оскар не отвечает. Тишина сгущается и начинает давить на барабанные перепонки. Можно сколько угодно пить молча, но, если один начал говорить, второму хорошо бы ответить, иначе выходит невежливо. Метель разочарованно царапает оконные стекла. Прощально шипит, рассыпаясь, последнее бесполое полено в каминной топке.

– Оскар, вы только нас не бойтесь, – говорит Таня, наклоняясь вперед. – Вам ничего не угрожает. Это не имеет к вам никакого отношения.

– Я знаю, – говорит он бесстрастно. – Я здесь для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. Комфорт. Моя задача – чтобы, пока не наладится погода, здесь было тепло. Чтобы была вода. Не

испортились продукты. Я здесь только за этим. Остальное меня не касается. Я не стану вмешиваться.

Он вежливо приподнимает свой стакан с остатками виски и допивает в четыре мелких, аккуратных глотка. Какой странный все-таки тип, думает Таня тоскливо, даже пьет как-то не по-людски. Она все еще помнит, как сегодня днем этот тихий человечек лежал на спине, прижатый Петюниными коленями, и таким же ровным равнодушным голосом говорил: «Вам потом будет неловко», но теперь его самообладание больше не вызывает в ней прежней симпатии. Да елки, думает Таня. Хотя бы что-то должно тебя пронять. Но, видимо, не сегодня.

– Ладно. Поздно уже, – говорит она и встает.

Часов у нее нет, и она понятия не имеет, сколько сейчас времени. Кто разберет эту проклятую гору, здесь ночь могла наступить и в шесть часов пополудни. Еще ей приходит в голову, что, кроме утреннего омлета, никто из них ничего сегодня не ел. Возможно, поэтому смешная, крошечная порция виски ярится и пляшет у нее в голове и желудке. Ого, думает Таня, хватаясь за край стола, чтобы не потерять равновесие. День, конечно, был непростой. Но вот так напиться двумя порциями?

– Вы ничего не знаете про нас, – говорит она неожиданно для себя жарко, громко и наклоняется, упираясь локтями в столешницу, и восковые остывшие сталагмиты крошатся и липнут к ее рукавам. – Слышите, вы?

– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сразу отвечает Оскар, и его темные серьезные глаза как будто немного меняют цвет. Не теплеют. Но всё же определенно меняют цвет. – Я здесь не для того, чтобы судить, – говорит он.

Таня выпрямляется и, стараясь шагать ровно, надеется найти выход из гостиной с первой попытки. Было бы глупо влечься лбом в дверной косяк.

Уже в коридоре она понимает, что не взяла свечу. Что у нее нет фонаря. Но возвращаться сейчас – нельзя. Да ни за что. Много чести

– возвращаться и просить света. Пошел ты, высокомерная европейская дрянь. Что б ты понимал.

– Спокойной ночи, – доносится Оскаров голос откуда-то сзади, из тускло освещенной гостиной.

Тьма настолько густая, что можно смело закрывать глаза. Она закидывает руку за спину и яростно, пьяно оттопыривает средний палец. Спокойной ночи, говнюк. Комфорт? Тогда займись делом. Прибери стаканы, вытряхни пепельницы и вытри стол. Она вытягивает руки вперед, как слепец, и пытается найти лестницу, ведущую на второй этаж, к спальням. Ладони помнят округлые скользкие перила и шарик, полированный деревянный шарик, которым они начинались и заканчивались, но слева или справа? Черт. Куда поворачивать?

Черный широкий коридор сразу превращается в открытый космос, и она качается, бьется плечами в стены и машет руками, шарит отчаянно, срочно, чтобы побыстрее найти выход. Улизнуть прежде, чем маленький гордец придет со своим фонариком. Уличит ее в беспомощности. «Я здесь для того, чтобы обеспечить вашу безопасность». Ах ты, снисходительная вошь.

Наконец лестница подныривает, подкатывается ей под локоть. Таня вцепляется в лакированный поручень с облегчением тонущего, двумя руками. Господи, как хорошо, что здесь темно. Она висит на лестничных перилах, нащупывая ногами ступеньки. Время густеет и растягивается, как часто бывает внутри снов, где ты пытаешься догнать поезд, успеть в закрывающийся лифт или просто остановить кого-то важного, спасительного, от которого зависит все. Ты дышишь ему в затылок, этому драгоценному человеку из сна, и протягиваешь руку. Сейчас ты тронешь его за плечо, и он остановится. Обернется. Между дверцами вожделенного лифта – зазор, в который ты вот-вот успеешь впрыгнуть. У края платформы поезд замедляет ход, и уже маячит подножка. Этот момент во сне способен застыть. Длиться бесконечно. До самого пробуждения. Без разрядки, без удовлетворения – они никогда не наступают.

У правильных снов вообще мучительная природа, иначе мы их не запоминаем.

Не надо было пить на голодный желудок, думает Таня, сжимая пальцы вокруг перил, посылая яростные приказы непослушным, ватным мышцам. Алкоголь кажется союзником только поначалу, а потом, как и сон, просто бьет тебя в спину. Она карабкается по невидимым ступенькам, преодолевает пролет. Затем второй. Внизу Оскар деловито шуршит в гостиной, как хозяйственная мышь.

На втором этаже появляется новая задача: найти свою спальню. Таня видит мерцающую тусклую полосу света под одной из дверей и, не раздумывая, толкает ее.

Петя лежит ничком, завернутый с головой, словно мумия. Его дыхания не слышно. На туалетном столике, догоревшая почти до самой кромки стеклянного подсвечника, дрожит свеча.

Стараясь не шуметь, она осторожно прикрывает за собой дверь. Скользит взглядом по своему мятому отражению в зеркале над раковиной. Не надо было. Не надо было пить. Плещет в лицо водой, быстро чистит зубы, а потом, склонившись, жадно делает пять, семь, десять ледяных глотков из-под крана. Задувает свечу и раздевается, ежась от холода, топчя сброшенную под ноги одежду.

Она прячется в горячем, сбитом в ком одеяле и впервые за сегодняшний день чувствует себя на месте, в безопасности, там, где нужно, и осторожно протягивает руку, чтобы проверить, хорошо ли укрыт Петя. Ну вот, думает она с облегчением. Вот так.

Муж вздыхает потревоженно и поворачивается к ней.

– Танька, – шепчет он хрипло и прижимается жарким, в испарине лбом к ее щеке. Укладывает ей на ключицу сонную ладонь.

– Слушай, Танька. Может быть, дачу купим? Устроим там камин. Не чугунную игрушку, как здесь, а настоящий, большой. Из шамотного кирпича. Ты представь только...

Таня чувствует, как кислый привкус виски у нее под языком растворяет беспомощную зубную пасту.

– Дачу тебе? – раздраженно шепчет она в ответ. – Камин тебе? Ты обращаться с ним сначала научись. Оставил все нараспашку. Дачник.

Петя убирает руку. Уже не касаясь друг друга, какое-то время они лежат в темноте, разделенные молчанием и свежестью простыней, каждый в своей крахмальной лунке. Обособленные, как два тяжелых металлических шара в обитой шелком коробке. Потом засыпают.

За стеной, в соседней спальне, Лиза тонет в лавандовой мягкости подушек. От слез наволочки плавятся и липнут к щекам. Я хочу домой, плачет Лиза, господи, я так хочу домой, и позвонить нельзя, а вдруг с детьми что-нибудь, мы ведь даже не узнаем, зачем ты привез меня сюда, зачем я согласилась, нам не надо было приезжать.

Егор лежит рядом и гладит ее мокрые, уничтоженные плачем волосы.

– Это не я, – вдруг говорит он. – Ты же знаешь, да? Знаешь, что это не я.

В спальне становится тихо – в один миг, как будто где-то нажали на кнопку, полностью отключив звук. Егор ждет ответа на свой вопрос. Ему хотелось бы сказать что-то еще, но Лиза не двигается и больше не всхлипывает. Кажется, она даже не дышит.

Глава десятая

Неправы те, кто надеется на лечебные свойства сна. Сон не лечит, он всего лишь дает передышку, позволяет нажать на паузу. Заморозить кадр, отложить решение. На время перестать чувствовать. У страдающего, измученного сознания всегда есть последнее укрытие, крошечная, пускай и временная, лазейка; обессилевший мозг хватается за возможность сна, как утопающий за соломинку.

Как и необходимость дышать, пить и принимать пищу, потребность сна очевидна всем сторонам. Охотникам и жертвам. Защитникам и нападающим. Казакам и разбойникам. Сон – универсальный повод для перемирия.

Однако слишком на него рассчитывать не стоит. Его обезболивающие возможности ограничены. Как и всякая анестезия, он не ослабляет страдания, а всего лишь откладывает их до пробуждения.

Неправда, что, проснувшись, мы счастливы и невинны, как новорожденные. Реальность нападает исподтишка, прикидываясь огрызками сновидений, проникает в прорехи сонной ткани и кусается, как голодная блоха. Открывший глаза человек уже знает, что несчастлив. Уже чувствует боль и помнит ее причину.

Второе тусклое утро на горе они встречают в плену своих изолированных капсул, распластанные под белоснежными одеялами, как астронавты, совершающие межгалактический перелет. Отель погребен под снегом и похож на гигантский двухэтажный саркофаг. Снег покрывает ступени крыльца и подоконники, заполняет водостоки, тяжело лежит на кровельной черепице и лезет внутрь через замочные скважины. Пригибает к земле черные ветки столетних елей, молча собравшихся вокруг Отеля и с осуждением глядящих в непрозрачные окна. Старый дом пока неподвижен. Где-то внизу, в подвале, медленно остывает полный золы котел, еще не

дождавшийся новой порции угольных комьев. Над столешницей в безлюдной кухне сонно, как летучие мыши, висят кастрюли медными головами вниз.

Маша лежит на боку, чувствуя, как затекло неловко согнутое запястье, и запрещает себе шевелиться, как будто кто-то посторонний, находящийся здесь же, в спальне, жадно следит за ее лицом, ожидая малейшего движения. Важно не подать виду. Нельзя допустить, чтобы задрожали ресницы. Нет, думает Маша. Нет. Еще не пора. Я сплю. Она уже вспомнила, что в двух тысячах километров отсюда мама в двадцатый раз набирает номер ее телефона и сходит с ума от беспокойства. Что Соня мертва. Что предстоящий день надвигается на нее с неизбежностью идущего по расписанию поезда. Усилия, которые Маша прилагает для того, чтобы не проснуться, уничтожают сон надежнее тысячи будильников. Она сдается, и высвобождает руку, и открывает глаза.

За молочным слепым окном угадываются оцепеневшие тени деревьев. Движения нет. Она не слышит ни шагов, ни голосов, ни даже ветра, который вчера бился в стены и с воем грыз углы Отеля. Не скрипят ступеньки, не тикают лежащие на ночном столике часы. На мгновение Маше кажется, что она осталась одна на молчащей горе, и ее пугает облегчение, которое она испытывает при этой мысли. Возможно также, что за ночь она оглохла. Только затем, чтобы победить свой испуг, она садится на мягком матрасе и резко, со стуком опускает ступни на прохладный пол, добывая скрип из паркетных досок. Матрас беззвучно прогибается под ее весом, доски пола поют неохотно и слабо, как из соседней комнаты.

Эта тишина должна быть нарушена. Ей необходимо сейчас же, сию минуту спуститься вниз. Пробежать по лестнице, громко топая, распахнуть входную дверь и убедиться, что мир за дверью еще существует.

Она роется в кучке своей вчерашней одежды, жалко сброшенной у ножки кровати, и одевается поспешно, бездумно, и выбегает из спальни, даже не взглянув в зеркало. Старая лестница послушно и

жалобно отзывается на каждый шаг, но этого уже недостаточно. Маша летит по шокированному коридору в сумрачную прихожую, топчет беспорядочно разбросанную на полу обувь и сражается с задвижками и щеколдами лихорадочно и панически, как человек, ставший жертвой неожиданного приступа клаустрофобии. Толстая входная дверь поддается самую малость и встает как вкопанная. В распахнувшуюся сияющую щель через порог на пол просыпается снежная пыль, мелкая и сухая, как просеянная мука. За ночь буря насыпала под дверь плотный крепостной вал, как будто старалась запечатать их внутри. Арестовать за то, что они сделали. Не дать им покинуть Отель и разбрестись по горе, ускользнуть от возмездия. Маша упирается плечом и толкает дубовое дверное полотно, ощущая тупое равнодушное сопротивление густой белой массы. Почти успевая поверить, что ничего не выйдет. Потом дверь открывается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Яна Вагнер

КТО

НЕ СПРЯТАЛСЯ



История одной
компании

18+

